

ИРИНА  
ВЕЛЕМБОВСКАЯ

НЕМЦЫ

Рассказы о любви, о любвиных, независимых женских событиях,  
которые не могли быть обнаружены при жизни автора,  
в советское время



Ирина Велембовская

**Немцы**

«ACT»

1962

## **Велембовская И. А.**

**Немцы / И. А. Велембовская — «АСТ», 1962**

Ирина Велембовская – автор популярнейших романов о женских судьбах – «Сладкая женщина», «За каменной стеной», «Дела семейные». Роман «Немцы» совсем из «другого теста», хотя тоже о любви – запретной, той, что не должно быть, потому что идет война, и герой – немец, «остарбайтер», угнанный вместе со своими соотечественниками в начале 1945 года в СССР из Восточной Германии на далекий Урал. Роман написан И. Велембовской по свежим следам собственной драматической судьбы – ведь она, дочь репрессированного, работала на лесоповале рядом со своими героями. Надо ли говорить, что сочинение это не могло быть опубликовано при жизни автора, оказалось «непроходным» в первую «оттепель» и лишь в 2002 году выпущено небольшим тиражом. По сути, перед нами первая полноценная публикация романа.

## Содержание

О романе «Немцы» и его авторе	5
1	10
2	14
3	20
4	24
5	29
6	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

# Ирина Велембовская

## Немцы

### О романе «Немцы» и его авторе

#### *Предисловие ко второму изданию*

У этого романа, так же как у его автора, очень трудная судьба. Хотя «Немцы» – роман прежде всего о любви, события, в нем описанные, необычны, незнакомы читателю и уж никак не могли быть обнародованы при жизни автора, в советское время.

Главные его герои – немцы из Баната (исторической местности в западной части Румынии), мирные жители, мужчины и женщины, которые были интернированы, а проще говоря, угнаны на работу в СССР в конце Второй мировой войны.

С тех пор прошло более шести десятилетий, однако и сегодня об этих событиях мало кто знает, поскольку сам факт интернирования немцев из Восточной Европы в СССР у нас очень долго замалчивался. Первые работы ученых-историков на эту тему появились в России лишь в середине девяностых годов, но, как исследования сугубо научные, они не стали достоянием широкой публики, тем более что к тому времени читатель уже успел порядочно устать от потока критики и разоблачений сталинского режима. Тем не менее, работа в этом направлении продолжалась, и благодаря опубликованным в последние пятнадцать лет исследованиям и рассекреченным материалам правдивость описанных в романе «Немцы» событий можно подтвердить документально.

Теперь уже известно, что планы советского руководства по использованию мирного немецкого населения для восстановления разрушенного в СССР войной хозяйства начали реализовываться, как только Красная Армия вступила на территорию Восточной Европы. А 16 декабря 1944 года Государственный Комитет Обороны издал секретное Постановление № 7161сс: «Мобилизовать и интернировать с направлением для работы в СССР всех трудоспособных немцев в возрасте – мужчин от 17 до 45 лет, женщин – от 18 до 30 лет, находящихся на освобожденных Красной Армией территориях Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии. Установить, что мобилизации подлежат немцы как немецкого и венгерского подданства, так и немцы – подданные Румынии, Югославии, Болгарии и Чехословакии... Руководство мобилизацией возложить на НКВД СССР (т. Берия)». Вскоре усилиями НКВД и отрядов СМЕРШ возникла целая армия бесправных, обездоленных «остарбайтеров», виновных лишь в том, что они – немцы. Как и советских зеков, их заключили в лагеря, они работали на каменоломнях, в шахтах, рубили лес.

История пребывания «остарбайтеров» в маленьком уральском поселке и легла в основу романа Ирины Велембовской, которая работала вместе с интернированными немцами на лесоповале в тайге, оказавшись там тоже не по своей воле...

Писать о близком человеке всегда сложно. Но, к сожалению, моя мать – писательница Ирина Александровна Велембовская – дневников никогда не вела, ни мемуаров, ни письменных воспоминаний не оставила. Впрочем, это вполне укладывалось в ее характер: она была человеком скромным и достаточно самоироничным, что, пожалуй, и составляло суть ее обаяния. Жизнь, которую она прожила, сама по себе могла бы стать материалом для романа.

Ирина Александровна родилась 24 февраля 1922 года в Москве, в самом центре – в Брюсовском переулке, в доме 2/1 (который тогда еще называли «чернопятовским» по фамилии бывшего хозяина). Родители ее обвенчались в самом начале двадцатого века. Отец, Александр Александрович Шухгалтер, по образованию был юристом, выпускником Московского уни-

верситета. Мать, Анна Игнатьевна, урожденная Фиделли, тоже была женщиной образованной, с дворянскими корнями, отлично знала несколько европейских языков и до глубокой старости не утратила интерес к их изучению. Поженились они совсем молодыми, жили дружно – оба увлекались книгами и революционными идеями, особенно в преддверии Первой русской революции. Александр Александрович даже проходил по делу Баумана, за что был арестован и отсидел в тюрьме месяца два-три. После революции 1905 года он заведовал магазином «Образование» на Кузнецком Мосту. Об этом сохранилось свидетельство ставшего впоследствии известным писателем и знаменитым книголюбом Владимира Германовича Лидина, который мальчиком приходил к А.А. в магазин и позже в своей книге «Друзья мои – книги» писал, что своей увлеченностью книгами он во многом обязан и Александру Александровичу Шухгалтеру.

Году в девятом-десятому А.А. стал юрисконсультом в издательстве у Сытина, понемножку разбогател, купил семикомнатную квартиру в только что отстроенном доме в Брюсовском переулке, двухэтажную дачу в Медведкове (на ее месте сейчас стоит двадцатая больница). Анна Игнатьевна тоже «обуржуазилась»: завела горничную, кухарку, стала ездить в Париж и оттуда привезла француженку для своих дочерей – их к тому времени было уже четверо. Ну и, конечно, она собирала домашнюю библиотеку, редкие издания, заказывала для обожаемых ею книг роскошные переплеты – кожаные, бархатные, ситцевые. Старшие дочери учились в одной из лучших в Москве Елизаветинской женской гимназии в Большом Казарменном переулке.

Младшие дочери – близнецы Гая и Ира, – родившиеся после Октябрьской революции,росли, естественно, уже в других условиях, хотя дома еще сохранялась прекрасная библиотека, девочек водили на премьеры в театры, на детские утренники, на концерты, в гостях у родителей собирались известные певцы, актеры: жившие по соседству Барсова, Нежданова, Охлопков, Мейерхольд, Голованов и многие другие. Александра Александровича знала вся театральная Москва – он организовывал театрально-концертное вещание в Радиокомитете, который находился тогда на Тверской, в здании нынешнего Центрального телеграфа, и на общественных началах был юрисконсультом Театрального общества. Позже А.А. заведовал книжным отделом Дома ученых. Анна Игнатьевна в двадцатые-тридцатые годы служила заведующей библиотекой на Петровских линиях.

Ира уже в пять лет научилась хорошо читать, читала запоем и потом говорила: «Все, что я прочла в детстве, я запомнила на всю жизнь». При этом она немножко лукавила: память у нее всегда была феноменальная, настоящая «писательская». Благодаря удивительной памяти на детали и чувству юмора она была прекрасной рассказчицей. Например, рассказывала нам, как в детстве побывала в гостях у Горького на даче. Случилось это, скорее всего, в 1932 году. Лето семья теперь проводила в деревне: свою дачу в Медведкове Александр Александрович в 1914 году отдал под госпиталь. Неподалеку, в Горках, за глухим забором, под охраной, жил Максим Горький. Анна Игнатьевна написала ему письмо: мол, дорогой Алексей Максимович, очень уж деревенские ребятишки хотят познакомиться с великим пролетарским писателем. Через несколько дней от Горького прибыл военный и велел ребятам завтра с утра приходить на дачу к Алексею Максимовичу. На следующий день человек десять детей, нарывав в поле ромашек и васильков, отправились в гости к классику. Увидев их, босых, в плохонькой одежонке, Горький прослезился. А обалдевшая ребятня, открыв рты от изумления, смотрела на диковинные растения в саду, на скачущих повсюду маленьких обезьян, на приготовленное на огромном столе невиданное угощение – конфеты, фрукты, пирожные. Годы-то уже были голодные. Сколько могли, съели, оставшееся горничные завернули и дали детям с собой. Потом Горький спросил, какие его книги они читали. Деревенские детишки смущенно молчали, а Ира отрапортовала: ««Детство», «В людях», «Песня о Буревестнике», «Егор Булычев и другие» и т. д. и т. п. «Ну, хватит, хватит, мать-командирша!» – остановил он ее и снова стер слезу со щеки.

Поход к Горькому мама запомнила в мельчайших подробностях и через много-много лет рассказывала о нем так, как будто это происходило вчера: вспоминала и красавицу-невестку Горького Тимошу, и его маленьких внучек с рыжеволосой нянькой Липой, и приехавшего на дачу к Горькому играть в карты начальника ОГПУ Ягоду.

13 июня 1938 года Александра Александровича арестовали. По пятьдесят восьмой статье. За критику действий партии и правительства. Видимо, он слишком громко сокрушался по поводу того, что вырубают Садовое кольцо и московским детям теперь негде будет гулять. Было ему в ту пору почти шестьдесят лет. Следующие девять лет он провел в воркутинском лагерь, а потом еще долго не имел права жить в Москве и мыкался по чужим углам то в Александрове – вечном городе ссыльных, то в Калязине, то еще бог знает где. До недавнего времени в нашей семье считалось, что на А.А. донесли соседи – его квартира стала коммунальной. Однако личное дело деда, обнаруженное в 2009 году в Государственном архиве РФ свидетельствует, что дать против него показания их вынудили. Правда, даже в те страшные времена среди соседей деда нашелся человек по имени Николай Вялкин, который фактически отказался сотрудничать со следствием, сославшись на то, что давным-давно в ссоре с А.А., никогда с ним не общается и потому ничего не слышал, хотя в действительности их связывали самые добрые отношения. После ареста мужа Анну Игнатьевну тут же уволили из ее любимой библиотеки, а Ирина вынуждена была бросить школу и пойти работать.

Как только в июне сорок первого началась война, она сразу же записалась на курсы медсестер, чтобы попасть на фронт. Но пока что девочонкам выдали оружие и поставили охранять склад, а оттуда в первую же ночь пропало несколько пар валенок. Девчонок судили по законам военного времени и посадили в тюрьму. Чтосталось с другими девушками, Ирина не знала, а ее прогнали по этапу на Урал. Так началась ее уральская эпопея.

Без пальто, в рваных туфлях, она вышла на двадцатиградусный мороз из уральской тюрьмы в ноябре 1941 года. Шла – и падала, полностью истощенная, перенесшая цингу. И куда было идти? Так и замерзла бы на дороге, если бы из окошка местной школы ее не заметила молоденькая учительница Тамара Баранова. Выскочив на улицу, она подхватила Ирину и привела к себе домой. Здесь Ирину отогрели, накормили, хотя Тамара с матерью и сами жили небогато. Дали ей оставшийся еще от Тамариного дедушки старый тулуп и валенки. В этом «дедушкном» тулупе Ирина проходила долго. А с Тамарой, которая после войны вышла замуж и стала Путятиной, она поддерживала дружеские отношения и переписывалась до последних дней жизни. И именем Тамара назвала героинь нескольких своих произведений.

Ее жизнь на Урале оказалась очень тяжелой: сначала она работала на драге на реке Ис – возила на лошади воду, потом на заводе, в горячем цеху, где толкала вагонетки с углем и шлаком, а позже – на лесоповале. Весной за ведро картошки копала огороды, летом косила сено, осенью нанималась копать эту самую картошку. В феврале сорок пятого года в поселок Нижняя Тура привезли партию интернированных немцев из Баната. Вместе с ними Ирина как вольнонаемная работала в тайге на заготовке дров. С первых дней она, и сама обездоленная, прониклась к немцам симпатией, жалела этих людей, не привыкших к страшным холодам (зимой, случалось, морозы доходили до пятидесяти градусов, да и лето иногда начиналось не раньше середины июня, а в августе снова сыпал снег), к тяжелой физической работе, голоду, к чему она сама уже сумела приспособиться. Правда, народ на Урале в войну так не голодал, как, скажем, в западной части России. Здесь были крепкие избы, дворы, огороды, в тайге водился зверь, в реке ловилась рыба, летом собирали ягоды, грибы, держали скотину. А вот чужакам – сосланным, эвакуированным, выселенным, а таких тут было полным-полно, – приходилось трудно. Немцев уральцы встретили настороженно, но с интересом: очень уж они отличались от русских – обликом, вежливыми манерами, хорошей одеждой. Сразу было видно, что в своей Румынии они жили не тужили. Удивляло и их умельство: женщины прекрасно вязали, шили, мужчины в своей специальности были мастерами, почти все немцы играли на каких-нибудь

музыкальных инструментах, прекрасно пели хором протяжные народные песни. Только вот лес валить не умели.

Ирина быстро вспомнила немецкий, который учila в школе, хотя язык немцев из Баната – это лишь один из множества немецких диалектов, сильно отличающийся от литературного берлинского. Словом, сдружилась она с немцами, а потом и влюбилась в одного из них... В 1946 году большинство немцев отправили на родину.

В конце того же, сорок шестого года за Ириной на Урал приехал отец, сам только что вышедший из лагеря. Отпускать ее не хотели, документов никаких не давали, но уехать все же удалось. Приехали в Москву. Однако и ей, и отцу жить в столице было запрещено. Да и жить-то, по правде сказать, было негде – квартира в Брюсовском была заполнена до отказа: сестры с мужьями и детьми, соседи. Приютила Ирину старшая сестра Ольга, которая вместе с мужем жила за городом, в Красной Сосне. Оба работали в школе, туда же с трудом устроили дворником и Ирину. Потом Ирина Александровна работала на мебельной фабрике (отсюда – повесть «Женщины»), нянечкой в яслях, на фабрике игрушек, бухгалтером, библиотекарем. Закончила экстерном вечернюю школу, стала писать рассказы, начала роман «Немцы» и в 1957 году поступила в Литературный институт им. Горького. Училась она на курсе у В.Г. Лидина, того самого, который в детстве ходил к ее отцу в книжный магазин «Образование».

Отец, к счастью, к этому времени был реабилитирован, за участие в революции 1905 года ему присвоили звание «старый большевик», дали персональную пенсию. Но в «большевиках» дед пробыл недолго – умер вскоре от сердечного приступа.

В 1961 году Ирина Александровна опубликовала свои первые рассказы в журнале «Знамя». Потом появилась повесть «Женщины», и пришел успех: звонили и с телевидения, и с киностудий, и завлты из театров – все интересовались автором и возможностью экранизации повести. Сотрудники «Знамени», где в то время она работала, шутили: «Ира, иди, там из цирка звонят, хотят твоих “Женщин” поставить!» Фильм, снятый молодым талантливым режиссером Павлом Любимовым, стал большой удачей для всех: сценариста, режиссера, актеров. С многими из них Ирина Александровна подружилась, особенно с Н.А. Сazonовой и Н.К. Федосовой. Надежда Капитоновна Федосова (грозная Аникина из герасимовского «Журналиста», жестокая мещанка из фильма Райзмана «А если это любовь?» и – лучшая ее роль в кино – мать из «У твоего порога» Ордынского) оказалась не только замечательной актрисой, но и добросердечным, мудрым, милым человеком, и они продружили всю жизнь.

Удивительно, но почти все, с кем Ирину Александровну сводили жизнь и творческие интересы, становились ее друзьями, которых она обожала, готова была прийти им на помощь в любую минуту, с ними ей всегда было тепло. И ей отвечали взаимностью. Судьба подарила ей встречу с прекрасными редакторами: в «Знамени» – с Софьей Дмитриевной Разумовской, в издательстве «Советский писатель» – с Дианой Варткосовной Тевекелян. Хороший редактор для автора – это как мать родная, конечно, если автор хочет и умеет прислушиваться к замечаниям. И на «Ленфильме», где снимались «Сладкая женщина», «Молодая жена», «Варварин день», был замечательный редактор – Галина Львовна Попова, тоже ставшая для Ирины Александровны близким другом.

Печатали И. Велембовскую немного – книжечки были тоненькими, переизданий не давали, только в 1988 году вышел солидный томик ее повестей «Сладкая женщина». Работать ей и в литературе, и в кино было непросто: вечные цензурные придирки по мелочам, упреки в отсутствии производственной темы, в слишком большой погруженности ее героев в свои личные проблемы. А она была не борец, не член партии, не ветеран войны, переживала ужасно, когда резали по живому ее текст или коверкали в кино сценарий, но спасали неиссякаемый редкостный оптимизм, чувство юмора. Бывало, вернется со студии чуть не в слезах – от глупости, бездарности, непонимания, а порой и хамства, на что киношники большие мастера, а потом переведет дух, начинает рассказывать в лицах, и всегда выйдет как-то смешно и вроде

уже и необидно. Многими своими фильмами она была недовольна, считая их упрощенным вариантом ею написанного, но кино – дело коллективное, и главная фигура там режиссер, а не сценарист. Однако именно благодаря кино появилась известность. Хотя зрители, как правило, не помнили фамилии сценариста, стоило произнести «Женщины» или «Сладкая женщина», как сразу же люди начинали улыбаться и кивать головой.

Между тем, повести И. Велембовской стали публиковать в других странах: в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, США, а «Сладкая женщина» вышла даже в Китае. «Зарубежных» книг у нее было значительно больше, чем изданных на родине. Там производственная тема, видимо, меньше волновала редакторов и читателей.

Но кроме творческой была у Ирины Александровны еще и другая жизнь – дом, семья, друзья, книги. Она прекрасно знала историю, географию, не говоря уже о литературе, которая всегда была культом в нашем доме. Тем не менее, она никогда не кичилась своими знаниями, никогда не изображала из себя «известную писательницу». Любила жить в деревне, ходить в лес по грибы, косить сено, копаться в саду. И все умела – могла построить сарай, вырастить невиданный урожай, закатать за вечер десять банок огурцов. Наш дом всегда был полон гостей – родственников, близких, друзей. Всех она привечала, поила, кормила, любила красивое застолье: с хорошей сервировкой, пышными пирогами. «Самый вкусный московский дом», – писал о нашем доме Даниил Данин, автор знаменитой «Неизбежности странного мира», серьезных книг о великих физиках, а в жизни – большой шутник и каламбурист.

Неожиданная и очень страшная болезнь, а потом и смерть Ирины Александровны стали для нашей семьи трагедией. Это случилось весной 1990 года, вскоре после ее шестьдесят восьмого дня рождения…

Роман «Немцы», написанный в конце пятидесятых на волне хрущевской оттепели, – это ее молодость, ее любовь, ее боль. Ирина Александровна несколько раз пыталась опубликовать роман, но в течение долгих лет ей в журналах и издательствах отвечали: «Забудьте о своем романе, такой темы в советской литературе не было, нет и никогда не будет!» После смерти Ирины Александровны мы долго не могли решиться разобрать ее небольшой архив (она никогда не хранила ничего лишнего, выбрасывая даже то, что следовало бы сохранить), а когда разобрали, то выяснилось – среди ее архива «Немцев» нет. И мы решили, что она уничтожила рукопись… Но рукописи, как известно, не горят.

*Ксения Велембовская*

# 1

В вагоне было почти темно. Свет сочился лишь сквозь узкую щель над дверью, под самой крышей, да на пол падали легкие блики от тлеющих в чугунной печурке углей. В темноте едва можно было различить закутанные в одеяла фигуры людей, тесно лежавших на двухэтажных нарах.

С верхних нар ловко слез молодой мужчина, подсел к печке и открыл дверцу. Осветилось худощавое, красивое, но небритое лицо. Он достал папиросы и закурил. Курил и грелся – за ночь вагон совсем выстудило. Затушив папиросу, принялся подкладывать в печь щепки из стоявшего рядом ящика. Когда в печке загудело и заплясало яркое пламя, положил туда несколько кусков каменного угля и закрыл дверцу. Снова закурил и сел на ящик около печки.

– Майн готт, опять Штребель дымит! – раздался ворчливый голос с нижних нар. – Он, видно, хочет, чтобы мы все задохнулись в этом проклятом вагоне!

Штребель не ответил и снова с наслаждением затянулся.

– Пора вставать! – крикнул он, поднимаясь наконец и бросая окурок. – Уже девятый час. Наверное, скоро станция. Мы всю ночь ехали не останавливаясь.

На нарах началось движение. Кое-кто, высунув нос из-под одеяла и почувствовав, как холодно, снова юркнул обратно. Остальные кряхтя поднимались и натягивали верхнюю одежду.

Штребель полез наверх. В потемках задел соседа, и опять послышалось ворчание.

– Пора бы вам и проснуться, – заметил он. – Подвиньтесь-ка, Бер. Я возьму свою куртку.

Толстяк Бер нехотя подвинулся. Только было он устроился поудобнее со своим огромным животом и задремал, как опять его разбудили. Бер вздохнул и приподнялся. Вот уже два с лишним месяца он мучился в этом вагоне, однако почти не похудел, хотя плохо спал и сильно тосковал по дому.

– Как велика Россия… – жалобно произнес он, – везут-везут, а конца не видно. Из Румынии выехали – тепло было, а теперь прямо душа трясется от холода.

Угли в печке разгорелись, в вагоне заметно потеплело. Штребель приник к двери, глядя в узкую щель. Мимо пробегали все те же бесконечные заснеженные леса. Наконец поезд сбавил ход и вдали обозначились станционные постройки. Состав проскрежетал колесами, зашипел и встал.

С лязгом открылась дверь вагона. Веселый лейтенант Звонов громко крикнул:

– Камарады, вставай! Давай за водой!

Штребель подхватил два ведра и спрыгнул вниз. Колодезь был рядом, он набрал воды с плавающими в ней кусками льда и потащил к своему вагону. Из других вагонов тоже высекали немцы с бачками и ведрами.

Поставив ледяную воду на печурку и не дожидаясь, пока она согреется, Штребель зачерпнул кружку и стал умываться, то и дело вздрагивая от холода.

– Кто у нас сегодня дежурный? – спросил он, растирая лицо полотенцем. – Уж не вы ли, Шереш? Ну, тогда нам завтрака не дождаться!

– Хватит болтать, – огрызнулся долговязый Шереш, сползая с нар, где его дородная супруга все еще лежала под бесконечными пледами и одеялами.

Шереш нехотя помахал по полу чахлым веником и стал ополаскивать бачок для супа.

– Господа, кто желает русский завтрак? Раз, два, три, четыре, пять. Вы отказываетесь, Бернард? Нет? Восемь, девять, десять, одиннадцать… Ого, сегодня много желающих. Видно, домашние запасы подходят к концу.

Он отправился за супом. Все зашевелились, стали извлекать из чемоданов остатки захваченной из дома еды: колбасу, шпиг, консервы, сухари. Менее запасливые с завистью посматривали на тех, кто набрал в дорогу полные чемоданы продуктов.

Бер тоже достал из мешка кольцо копченой колбасы, черствой и промерзшей. Нарезал ее карманным ножом, положил на большой ломоть русского черного хлеба и, покосившись на соседей, принял есть.

– Рудольф, идите, съешьте кусочек! – расправившись с огромным бутербродом, крикнул он Штреблю, стоявшему внизу, у двери. – Хватит вам мерзнуть!

Добряк Бер знал, что Штребль ничего не сумел прихватить с собой из дома, кроме мыла и табака, и поэтому считал своим долгом постоянно его подкармливать.

– Спасибо, – отозвался тот. – Я дождуся русского завтрака.

Шереш вернулся с бачком супа и мешком хлеба.

– Замерз как собака! – проворчал он, забираясь на нары поближе к жене. – Сегодня что-то особенно холодно. Вот она, настоящая русская зима!

Штребль налил себе суп и взял кусок черного хлеба. Суп, сваренный из крупы и картофеля, был вполне съедобен, в нем даже плавали волокна мяса.

– Дрянь какая! – презрительно морщась и отодвигая миску, заявил отставной обер-лейтенант Отто Бернард. – Штребль, может быть, вы желаете мою порцию? Все равно я выплесну ее.

– Можете выплеснуть ее себе на голову, – ответил Штребль презрительно. Он все еще не наелся, сидел на ящике и жевал хлеб. – Скоро и вашему обер-лейтенантскому брюху придется научиться переваривать русский суп.

Паровоз свистнул, и состав тронулся. Штребль пошуровал в печке и полез на нары.

Против него на верхних нарах сидел, сгорбившись, высокий красивый немец Ландхарт. Он вот так часами сидел неподвижно, ни с кем не разговаривая, не отвечая на вопросы соседей. Штребль знал, что Ландхарт – зять богатого решицкого фабриканта, и видел, как его провожала жена, красавица-румынка, с прелестной девочкой на руках. Ландхарт рыдал, прижимая к себе ребенка. Теперь Штребль не мог спокойно смотреть на сгорбленную, почти жалкую фигуру Ландхарта. Он предложил ему папирус.

– Спасибо, не хочу, – отрывисто сказал Ландхарт.

– Что с вами? Вы, может быть, больны?

– Нет, я не болен, – ответил Ландхарт и, понизив голос до шепота, прибавил: – Меня грязь замучила, у меня нет больше чистого белья. – Ландхарт страдал, потому что был очень брезглив. Рядом с ним спал сапожник Шпайбауэр, флегматичный белобрысый увалень, который не брился и не мылся уже много дней. Ландхарт все время жался к стенке, боясь случайно коснуться потного тела Шпайбауера. Его собственное белье все еще хранило запах одеколона и богатого семейного уюта. – И потом, меня кто-то кусает… Ой!

Он схватился за шею и вытащил из-за ворота какое-то насекомое.

– Что это такое? – спросил он с ужасом.

– Разрешите мне посмотреть, – вылез со своего места Бер. Водрузив на нос пенсне, он аккуратно двумя пальцами взял насекомое и положил на ладонь. – Как бывший учитель зоологии могу вам сказать: это *Pediculus humanus corporis*, то есть вошь бельевая. Известна с древнейших времен, является переносчиком сыпного тифа. В прошлую войну на одном пленном было насчитано три тысячи восемьсот таких вот вшей…

– Хватит вам! – оборвал его Штребль, хорошо знакомый с этой напастью еще по румынской армии. – Бросьте ее в печку, что вы на нее любуетесь? Советую всем осмотреть свое белье, а то мы их здесь столько расплодим, что они нас съедят.

– Это точно, – подтвердил коренастый крепыш Раннер, – в наших казармах их хватало. Мы их даже не били, над огнем развесим…

– Ужас какой! – содрогнулась фрау Шереш. – Неужели в румынской армии было хуже, чем в этом вагоне, в котором раньше, наверное, перевозили коров?

– А вы думаете, лучше? – отозвался Раннер. – Здесь по крайней мере в зубы никто не стучит, а там я по милости румынского капрала пять зубов потерял и заработал язву желудка.

Ландхарт все еще брезгливо тер шею. Теперь его страдания увеличились – ему казалось, что его все время кто-то кусает, и так как чесаться при женщинах он стеснялся, то мучился ужасно.

Штребля тоже смущало то обстоятельство, что в вагоне находилось несколько женщин, не пожелавших расставаться со своими мужьями, и раздеться было неудобно. Он был большим поклонником женского пола, но теперь их присутствие в вагоне ему уже не нравилось. Вообще, после того как Штреблю пришлось пробыть около двух месяцев в тесном соседстве с женщинами, симпатии его к ним заметно поубавились. Прямо под ним, на нижних нарах, помещались супруги Раннер. Они ругались между собой целый день.

– Чтоб ты издохла, проклятая! – чуть что шипел Раннер. – Я вытащил тебя из публичного дома, а ты помыкаешь мной, как последним идиотом!

– Бешеный козел! Лучше бы я осталась в публичном доме, чем ехать по твоей милости черт знает куда! – визжала рыжеволосая Магда.

Их бесконечные перебранки в другое время были бы невыносимы, но сейчас, когда обитатели вагона изнывали от скуки, они служили даже некоторым развлечением. Только добродушный Бер качал головой:

– Неужели в таком горе, которое нас всех постигло, нельзя обойтись без скопий? Бог знает, может быть, мы все стоим на краю могилы.

«Хорошо, что я в прошлом году не женился», – уже не в первый раз подумал Штребль.

Чтобы хоть чем-то занять время, каждый пытался найти себе какое-нибудь занятие. Отставной обер-лейтенант Отто Бернард выменивал все подряд на румынские серебряные леи.

– Серебро есть серебро, – бормотал он. – Его будут ценить и в России.

Женщины без конца распускали старые шерстяные вещи и вязали из них новые, обменявшиеся между собой цветными нитками. Художник Чундерлинк с густой пепельной бородой гадал дамам на картах. Он безбожно врал, но женщин это не смущало. В перерывах между гаданиями он что-нибудь продавал, менял, но неизменно уклонялся от дежурства, которое было установлено для всех обитателей вагона, за исключением женщин, и которое становилось для него тоже предметом торга.

– Готов дать двести-триста граммов колбасы тому, кто за меня подежурит, – обычно объявлял он.

Перед обедом дверь опять открыли. Поезд стоял на большой товарной станции. В дверь хлынул поток морозного воздуха, и все забились на нары.

В вагон поднялись начальник эшелона старший лейтенант Хромов и замполит Лаптев.

Хромова, высокого, плечистого, хмурого человека с отличной военной выпрявкой, немцы побаивались. Рядом с ним маленький застенчивый Лаптев, несмотря на военную форму, вид имел почти штатский.

– Здравствуйте, – отрывисто бросил Хромов. – Больных нет? Проветривать надо вагонто, проветривать!

Лаптев перевел.

– Больных нет, – ответил за всех Штребль. – Но просим господина лейтенанта отправить нас в баню: у нас появились насекомые.

Лаптев опять перевел. Хромов нахмурился.

– Прибудем на место, пройдут санобработку. А пока пусть сидят и не рыпаются. Ауфидерзен!

Офицеры вышли, а лейтенант Звонов, задвигая дверь вагона, весело сказал:

– Цвей-дрей день проедем – и на месте. В баньку со своими фрауами пойдете. И будет гут. Давай, камарад, обед получать!

К всеобщей радости, путь подходил к концу, но неизвестность все равно всех страшила. Особенно пугали немцев холода, так как на родине они не знали ни мороза, ни глубоких снегов. По взволнованному шепоту, который пробегал по вагону этой ночью, было ясно, что многие с тревогой ждут прибытия на место. Слышались приглушенные рыдания и скорбные вздохи.

Штребель всю ночь проспал – он был молод и здоров и никакой работы не боялся.

## 2

Прииск Нижний Чис лежал в самом сердце Урала, на границе Европы и Азии. Полноводная, быстрая река Чис была теперь закована толстой броней льда. Три крупные паровые драги чернели на льду между отвалами, занесенными снегом. Поселок раскинулся на высоком берегу, позади него громоздились горы и шумел еловый бор.

Лаптев приехал на Нижний Чис поздно вечером, на сутки раньше своего эшелона. С площадки первого вагона он смотрел на выплывающий из тумана поселок, на мелькающие кое-где огоньки.

Стоял лютый мороз. Это было 24 февраля 1945 года.

В помещении приискового управления уже был погашен свет. Только окно во втором этаже еще светилось. Сторож проводил Лаптева к двери, на которой висела табличка «Лесная контора».

В комнате за большим письменным столом сидела темноволосая полная женщина, закутанная в белую шерстяную шаль.

– Здравствуйте, – сказал Лаптев.

Женщина поднялась, сбросив шаль на спинку стула. На ней была простая мужская гимнастерка, тесная в груди и в вороте.

– Здравствуйте! Начальник лесного отдела Путятин Татьяна Герасимовна, – представилась она. Высокий голос как-то не соответствовал ее комплекции. – С чем вы, товарищ?

Лаптев назвал себя. Татьяна Герасимовна широко улыбнулась.

– Ждем мы вас, ждем, как пироги из печи, – и сразу перешла на «ты»: – Ну, садись, рассказывай.

Они беседовали долго. Татьяна Герасимовна внимательно слушала, подперев щеку кулаком совсем по-бабы.

– Много ль везете немцев-то? – спросила она.

– Около четырехсот мужчин и сотни полторы женщин.

Татьяна Герасимовна широко раскрыла глаза:

– Женщин? Разве их тоже в плен брали?

– Нет, конечно, – улыбнулся Лаптев. – Вы, очевидно, думаете, что мы везем военнопленных, а это – интернированные, немцы из Западной Румынии. Есть такая провинция Банат. Хорошие места. Немцев там много живет, венгров, чехов. Сейчас большинство немцев в возрасте от пятнадцати до пятидесяти интернированы в Россию.

– Что ж, навечно? – испуганно спросила Татьяна Герасимовна.

– Зачем же навечно? Пока в этом будет нужда. Пусть поработают на нас немного.

– Да, работники нам нужны, – кивнула Татьяна Герасимовна. – Драги третий день простираивают без дров. Детсад, больница – нигде дров ни полена. От заносов ни трактор, ни машина в лес не проходят. Рубить и подавно некому: одни бабы да ребятишки.

– Значит, мы вовремя поспели? – снова улыбнулся Лаптев.

Татьяна Герасимовна собрала со стола бумаги, заперла стол и накинула шаль.

– Где остановился-то, товарищ Лаптев?

– Хотел в приезжей, – ответил Лаптев и смущенно добавил: – Да говорят, там холод собачий...

– Поедем со мной, я тебя на хорошую квартиру поставлю. Там не замерзнешь.

Домик Василия Петровича Черепанова стоял на самом краю поселка. За огородом сразу начинался лес. Татьяна Герасимовна вылезла из саней и постучала в ворота. Отворил сам Василий Петрович.

– Кого бог дает? – спросил он, вглядываясь в Лаптева.

— Принимай гостей, — отвечала Татьяна Герасимовна и пропустила вперед совсем замерзшего Лаптева.

Когда Лаптев вошел в жарко натопленную избу, из-за стола, быстро сложив книги, поднялась девушка и удивленно посмотрела на него.

— Ну, знакомьтесь, — сказала Татьяна Герасимовна. — Это, товарищ Лаптев, моя помощница — прораб чисовского участка Тамара Черепанова. Томка, ты уж позаботься о госте: он нам работничков привез.

— Проходите, — тихо сказала девушка.

Лаптев не без удивления разглядывал ее. Прораб был очень хорошенкой девушкой лет семнадцати-восемнадцати на вид, сероглазой, с темными бровями и ресницами. Из-под белой косынки на голове выбивались светло-русые волнистые прядки.

Старик Черепанов достал для Лаптева теплые валенки с печи. Бабка поставила самовар. Татьяна Герасимовна посидела немного и стала собираться домой.

— Завтра заеду за тобой, — объявила она Лаптеву. — Поедем бараки для немцев твоих смотреть.

Он сидел на широкой лавке у печи и грелся. Тамара стала накрывать на стол.

— Садитесь, чем бог послал... — пригласил старик Черепанов. — Не тем раньше угощали. Такое сейчас время...

Лаптев с удовольствием поел картошки, но от соленых груздей и капусты отказался:

— Спасибо... лучше не надо. У меня половина желудка вырезана.

Черепанов сочувственно покачал головой и велел бабке достать молока. Лаптев поужинал, и Тамара собрала посуду. Потом она постелила ему за перегородкой.

— Ложитесь, — она застенчиво улыбнулась. — Завтра Татьяна Герасимовна вас чуть свет подымет.

Лаптев разделся и лег, наслаждаясь теплом. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть. За перегородкой Тамара все еще не гасила свет и сидела с книжкой до тех пор, пока отец не прикрикнул:

— Томка, бросай к лешему свои книжки! Завтра тебя не добудишься!

Девушка погасила свет и легла. Вскоре послышалось ее ровное дыхание. Лаптев все еще не спал. «Далеко же меня занесло... — думал он, глядя в темноту. — То через всю Европу, теперь через всю Россию почти. Вот попал в чужую семью, а приняли как своего. Девушка такая милая...»

На крутом берегу Сухого Лога виднелись два бревенчатых двухэтажных корпуса бывшего лесотехникума. Лесотехникум еще до войны перевели в область, в первый год войны здесь размещался эвакогоспиталь. После его расформировали, и техникум снова пустовал. Сейчас его подготовили к приезду интернированных немцев. Выстроили баню с прачечной, старый сарай отремонтировали, сделали столовую и кухню, пристроили помещение для госпиталя и красного уголка. Территорию лагеря обнесли высоким глухим забором с четырьмя вышками по углам.

Лаптев и Татьяна Герасимовна вошли в лагерь через проходную будку, пахнущую свежим сосновым тесом. На широком дворе росло несколько зеленых разлапистых елок. Везде еще валялись обрезки досок и стружки — следы работы плотников, но из двух труб первого корпуса уже вился дымок.

— Затопили, — сказала Татьяна Герасимовна. — Я велела все печи разогреть для твоих немцев, последних дров не пожалела.

— За нами не пропадет! — весело ответил Лаптев.

Эшелон прибыл вечером двадцать пятого февраля. Холодный туман окутывал прииск. Несмотря на мороз, у станции собралась толпа народа, чтобы посмотреть на немцев. Прибыло и все приисковое начальство в длинных меховых шубах. Лаптев, не успевший еще обзавестись

полушубком и валенками, мерз в своей тонкой шинели и сапогах с галошами. Татьяна Герасимовна, заметив, что Лаптев совсем застыл, прогнала его греться в станционное помещение.

Пыхтя, подошел длинный состав. Из первого вагона вышли старший лейтенант Хромов, лейтенант Петухов, младшие лейтенанты Звонов и Мингалеев.

– Здорово, замполит! – Хромов крепко пожал Лаптеву руку. – Ну и мороз, я тебе скажу! Сейчас бы выпить с дороги! – и пошел знакомиться с приисковым начальством.

– Открывайте вагоны! – распорядился Лаптев.

Переводчик, юркий немец Альтман, крикнул по-немецки:

– Приготовьтесь к высадке!

С лязгом одна за другой начали открываться двери вагонов, и немцы спрыгивали на платформу.

– Говорили, немцев пригонят, а это бабы, – разочарованно сказал кто-то в толпе.

– Юбки-то на них какие длиннющие! А народ мордастый!

– Глянь, фриц какой толстый! Небось, капиталист!

Последнее замечание относилось к Беру, который кряхтел под тяжестью двух чемоданов.

Штребель стоял, перекинув свой рюкзак через плечо. Молодой русский лейтенант подтолкнул его в спину:

– Живей, камарад, стройся в колонну! Багаж клади на сани, не робей.

Василий Петрович Черепанов, которого отрядили с подводой на подвозку немецкого багажа, проворчал, поглядывая на объемистые чемоданы:

– Ишь багажу-то набрали сколько, анафемы! На семи подводах не увезешь.

Немцы ежились от холода, переминались с ноги на ногу.

– У тебя уже нос побелел, Раннер, – заметил Штребель. – Что там в последних вагонах канителится? Так можно совсем замерзнуть.

Наконец колонна тронулась, сопровождаемая мальчишками и собаками. Из дворов выходили местные жители поглазеть на немцев.

Веселый лейтенант Звонов, шагая впереди, шутил:

– По улицам слонов водили… Разрешите, граждане, дорогу освободить! Интересного ничего нет: обычновенные немцы, пятакочек пучок. Камарад, шагай побыстрей, прячь сопли, не срамись перед русскими женщинами!

Когда за последним немцем закрылись ворота, заскрежетали засовы, охрана заняла свои места. Лагерь осветился огнями, ожила.

Первую ночь Штребель проспал в коридоре на полу рядом с Бером, под его теплым шерстяным одеялом. В комнаты никого не впускали до тех пор, пока не пройдет санобработка. Но и здесь Штребель уснул так крепко, что проснулся только по пронзительному визгу электрического звонка.

– Подъем! Построиться!

– Ауфштеен! Антретен!

В длинном коридоре, толкая друг друга, начали строиться люди. Взволнованный, бегал переводчик Альтман со списками, испещренными столбцами фамилий. Коридор гудел, кое-кто из женщин плакал. Вошли Хромов, Лаптев и остальные офицеры. Шум стих. Хромов обратился к дежурному по лагерю младшему лейтенанту Петухову:

– Баб сразу во второй корпус. Пускай забирают вещи.

– Ди вайбер коммен ин ден цвайте корпус! Пакт ди захен! Шнелль! – громко перевел Альтман.

Женщины засуетились, некоторые заплакали снова, прощаясь с мужьями и родственниками. Хромов поморщился:

– Альтман, шевели их! Пусть не ревут – не на век расстаются.

Когда женщины покинули первый корпус, началась перекличка. Альтман объяснил, что каждый, когда будет названа его фамилия, должен отвечать по-русски «здесь». Кроме того, каждому будет присвоен порядковый номер, который он обязан запомнить и на него откликаться.

- Первый номер – Альтман Иоганн! – вызвал Хромов.
- Здесь, – быстро ответил переводчик.
- Номер второй – Гофман Леопольд!
- Презент! – пробасил немец, но тут же поправился: – Здесь!
- Номер третий – Юрман Иоганн!
- Хир!
- Никаких «хиров»! – оборвал Хромов. – Отвечать всем «здесь».

Процедура переклички явно затянулась. Хромов передал список Лаптеву.

– На, покричи. У меня от этих дурацких фамилий язык уже стал заплетаться. Все какие-то Рихеры, Михеры, черт их подери! Первые сто номеров, марш в баню!

Командование первой ротой принял лейтенант Петухов. Раненный осколком в глаз, он носил черную повязку, закрывающую пустую глазницу. Немцы сразу же дали ему кличку Одноглазый Лейтенант. В состав первой роты вошло около двухсот человек. Здесь и оказался Штребль со своим приятелем Бером.

Вторую роту, которая досталась младшему лейтенанту Звонову, составляли почти исключительно немцы-крестьяне, многие из которых попали сюда целыми семьями. Все они были одеты в домотканую поношенную одежду: холщовые штаны в обтяжку с кармашками на бедрах, такие же жилетки поверх бурых от грязи рубах. На некоторых были безрукавные куртки из овчины, мехом книзу, довольно красиво расшитые цветными узорами. На головах – черные островерхие бараны шапки или самодельные картузики, отороченные мехом. На ногах – сандалии из воловьей кожи, затягивающиеся ремешками и напоминающие русские чуны. Все мужчины были грязны и давно не бриты. Одежда их пахла потом и плохим мылом домашней варки.

Аккуратненький стройный лейтенант Саша Звонов, оглядев свою роту, аж сплюнул:

- Тьфу, и вонючий же народ! Табак какой-то дьявольский курят!

Третья рота была женская. Ею командовал младший лейтенант Мингалеев, рослый, красивый башкир.

– Ну, фрау, моя хлебнет с тобой горя! – сказал он, оглядывая испуганных, дрожащих немок. – Ну чаво ты боишься? Ну чаво? Зверь я, что ли? Сказано: дура-баба!

Крестьянки держались бойче, некоторые улыбнулись своему лейтенанту. На женщинах и девушках было бесконечное количество цветастых, пестрых юбок, узкие строченые кофты, красивые яркие платки, на ногах – самодельные теплые туфли или веревочные лапотки. Почти вся одежда была из домашнего холста, только платки покупные.

Горожанки держались особняком: модные короткие пальто с подкладными плечами, шелковые чулки, игривые прически, а лица у всех растерянные и глаза полны слез.

Мингалеев усмехнулся и оскалил крупные белые зубы:

- Кончай панихида! Пошел в баню грехи отмывать!

Лейтенант Петухов первым перемыл, накормил и разместил по комнатам свою роту. Когда последний немец был водворен на свое место, Петухов оглядел еще раз все комнаты и, поманив к себе Альтмана, сказал ему усталым голосом:

– Я, камарад, пойду шляфен маленько. Устал я от вас, чертей, ужасно! Вы-то ночью дрыхли, а нас комбат всю ночь мариновал. Оставайся пока за старшего. Смотри, чтобы не орали, курить ходили на улицу, на пол не сорили. Меня разбудишь часа через два, я буду в красном уголке.

Альтман поспешил поклониться. Петухов ушел в красный уголок, стащил сапоги и улегся на стол, подмостив под голову шинель. Вскоре сюда же явился и Звонов и уснул на составленных стульях.

Только Мингалеев почти до вечера возился со своей женской ротой, топтался около бани и стучал кулаком в окошко.

– Что сандуновская баня здесь устроили? Сколько можно мыть, я спрашиваю? Раз-два, и выходи! Терпенье лопнет, сам зайду, начну тебе парить!

– Что волнуетесь, товарищ младший лейтенант? – спросил вахтер из охраны, здоровенный местный парень, проходя мимо бани с горой наволочек в руках.

– Пять часов стою, баба моется-моется, сколько можно!

Вахтер сложил наволочки, лукаво подмигнул Мингалееву и, вскарабкавшись на завалинку, заглянул в окно.

– Да они юбки свои стирают, товарищ младший лейтенант!

– А, черт паршивый! – зарычал Мингалеев и изо всей силы начал колотить кулаком в дверь. – Выходи, стрелять буду!

Пока женская рота обедала и размещалась, первые две роты уже построили в широком коридоре первого корпуса. Хромов и Лаптев успели побриться, но выглядели заспанно. Петухов и Звонов изредка зевали в кулак.

Штребль стоял крайним в первом ряду на правом фланге. Лицо комбата было видно ему в профиль: у комбата изредка выбрировал мускул на левом виске и нервно шевелились маленькие рыжеватые усы-щеточка. Когда воцарилась тишина, Хромов прошелся вдоль строя.

– Как стояте? – строго спросил он, оглядывая немцев. – Убери пузо! – ткнул он Бера. – Я с вами нянчиться не намерен, не маленькие. Ваши небось с нашими не нянчились – раз в зубы и разговор короток!

Почти никто не понял ни слова, но немцы стояли, опустив глаза.

– Ну, разъясни им все, Петр Матвеевич, – уже спокойнее обратился Хромов к Лаптеву. – Ишь фрицы повесили носы!

Лаптев кашлянул и, подбирая нужные немецкие слова, начал:

– Каждый из вас должен знать свои права и обязанности. Что же составляет права интернированного? Вам разрешается вне рабочего времени заниматься чтением газет на немецком или другом знакомом вам языке, писать письма домой, но не чаще двух раз в месяц, разрешаются прогулки на территории лагеря, но не позже девяти, а в летнее время – одиннадцати часов вечера. Разрешаются танцы и музыкальные занятия два раза в неделю, пение песен на родном языке и прочие интересующие вас занятия, не противоречащие общему уставу и порядку. Вы же обязаны беспрекословно подчиняться вашим прямым и косвенным начальникам, порученную вам работу выполнять аккуратно и в срок, причем не ниже, чем на сто процентов. Организованным строем отправляться на работу и с работы. Самовольные отлучки без разрешения на то командира батальона, а в его отсутствие – командиров рот, с территории лагеря категорически запрещаются, самовольный уход с рабочего места также категорически запрещен. Данные вам задания от командного состава лагеря по поддержанию личной и общей гигиены, порядка, несение дежурств и тому подобное также должны выполняться беспрекословно.

Командование лагеря, в свою очередь, предоставляет вам помещение, питание и обмундирование согласно существующему положению о лагерях военнопленных и интернированных. Стоимость вашего содержания будет высчитана из заработанных вами сумм. Остальные деньги вы будете получать на руки один раз в месяц.

На невыполняющих настоящие требования будут наложены дисциплинарные взыскания, начиная от помещения в карцер и вплоть до перевода в другой лагерь, более строгого режима.

У Лаптева от долгого напряжения мыслей выступил пот на лбу. К тому же он краснел за свое произношение. Вытерев лоб платком, он спросил охрипшим голосом:

– Все вам понятно из того, что я сказал?

Сначала воцарилось молчание, потом разом посыпались вопросы. Комбат нахмурился. Альтман тут же закричал:

– Задавайте вопросы по очереди!

Первым спросил Раннер:

– Если я болен и не могу выполнять что положено, меня тоже посадят в карцер?

Альтман перевел. Хромов усмехнулся.

– Врач вас всех осмотрит. Кто больной – дадим легкую работу. Но учтите, – комбат повысил голос, – симулянтам пощады не будет! Я вам покажу, где раки зимуют!

– Дадут ли нам работу по нашей профессии? – тихо спросил Ландхарт.

– В дальнейшем учтем. А пока – все в лес дрова рубить, а то сами же замерзнете, как сукины дети. Здесь вам не Румыния, а Урал.

Вопросы следовали один за другим. Хромов нетерпеливо махнул рукой:

– Вас не переслушаешь! Вам только дела – языки чесать, а у меня дел куча впереди. Время придет, все узнаете. А пока предупреждаю: комнаты держать в чистоте, к бабам во второй корпус не таскаться. Может, у кого жена или кто-нибудь из родных, спросите тогда разрешение у командира роты. А остальным там делать нечего. Желаете разговаривать – на это есть двор, гуляйте сколько влезет. Ну а теперь: есть среди вас коммунисты?

Немцы молчали.

– Ну, по-русски хоть кто понимает?

Шесть человек нерешительно вышли из строя.

– Ихъ… я немножко понимаю, господин лейтенант, – сказал сгорбленный немец с седеющей головой. – Я есть румынский коммунист. Пять лет сидел на румынска тюрьма.

– Как твоя фамилия? – прощупывая немца взглядом, спросил Хромов.

– Грауэр. Отто Грауэр.

– Ладно, – согласился комбат. – Коммунист или нет, мы потом разберемся. Раз понимаешь по-русски, назначаю тебя старостой лагеря. Но смотри: винтом у меня ходить! А то быстро слетишь. Отвечаешь за всех людей. Понял?

– Понял, – Грауэр поклонился.

Хромов осмотрел остальных и ткнул пальцем в трех.

– Назначаю старостами рот. Петухов, Звонов, проинструктируйте их.

Комбат вышел. Петухов почесал в затылке.

– Как их проинструктируешь, если я, к примеру, ни черта по-немецки? Альтман, иди помогай, что ли…

Роты распустили, немцы разбрелись по комнатам. Штребль забрался на верхние нары, где было его место. Против него лежал плотник Эрхард, крупный пожилой человек.

– Ну как, Ксандль, нравятся тебе твои права и обязанности?

– Что ж, ничего… Обязанностей, правда, больше, чем прав, но это не страшно. Вот еды маловато. И заметь, Штребль, русские офицеры едят ту же дрянь, что и мы. Я видел, как наш Одноглазый Лейтенант уплетал в столовой похлебку из зеленой капусты.

– Но что хуже всего, так это то, что у меня кончается табак, – печально заключил Штребль и повернулся лицом к стене.

### 3

Две недели лагерь был на карантине. Немцы продолжали томиться от бездействия. Изредка выпадал наряд попилить дров в баню или на кухню, разгрести снег во дворе, убрать помещение. Вечерами молодежь собиралась на танцы, женщины занимались рукоделием, мужчины играли в шахматы.

Штребль пытался несколько раз вечерком проникнуть в женский корпус, где у него было много знакомых, но староста женской роты, маленький, худой, как мальчишка, Герман Рот, всякий раз вежливо преграждал ему дорогу:

- По распоряжению хауптмана мужчинам не разрешается посещение женского корпуса.
- Евнух проклятый! – недовольно ворчал Штребль.

Если в первой роте еще чувствовалось какое-то оживление: люди разговаривали, читали газеты, играли в шахматы, собирались на танцы, то во второй царило полное уныние. Крестьяне, или, как их называли, бёмы, сидели хмурые, молчаливые, безразличные. Изредка вспыхивали ссоры, доходившие иногда до рукопашной.

Уже на третий день к Звонову в приезжую прибежал начальник караула.

- Товарищ младший лейтенант, немцы ваши передрались!
- Из-за чего же это? – испуганно спросил Звонов.
- Не могу знать. Только здорово цапаются!

Звонов помчался в лагерь. В коридоре второго корпуса было полно народа.

- По местам! – заорал он.

Толпа склынула. Белобрысый Шпайбауер, прислонившись к стенке, вытирая кровь, капавшую из носа. На полу усердно работали кулаками два бёма. Кто-то корчился под ними, неистово дрыгая ногами. Остальные смотрели на драку безучастно, спрятав руки в кармашки штанов.

Звонов потянулся к кобуре.

- Встать, гады! Стрелять буду!

Оклик подействовал отрезвляюще. С полу поднялись братья Суттеры, Фердинанд и Генрих. Лица их были красны и исцарапаны, одежда порвана. На полу обессиленно лежал шестнадцатилетний щуплый парнишка Сеппи Беккер. Он был сильно избит и с трудом сдерживал горькие рыдания.

Звонов не выдержал:

- Ну паразиты! Вдвоем бить ребенка! В карцер обоих! Ну гады, ну сволочи!

Бледный староста второй роты, с трудом говорящий по-русски, объяснил, что мальчик взял без спроса у Суттера его посуду и принес в ней суп. Суттер увидел это и выплеснул суп Беккеру в лицо. Тогда мальчишка назвал Суттера «грязной бёмской свиньей». Суттер и его брат принялись бить Беккера, а Шпайбауера, который заступился за мальчика, тоже ударили по лицу.

– Я обед нес... – захлебываясь слезами, кричал маленький Беккер. – Так хотел кушать... а он схватил и вылил! Суп еще горячий был. Пусть мне теперь его порцию дадут!.. Суттер сам хвастал, что отравил русского солдата, когда они пришли в их деревню...

Звонов ничего не понял из того, что прокричал мальчик, но бёмы угрожающе зашевелились. Беккер испуганно замолк.

– Ступай в госпиталь, – сказал Звонов, погладив мальчишку по голове. – Не бойся, никто тебя больше не тронет. А вы, – обратился он к Суттерам, – марш в карцер! Я еще до вас доберусь!

Звонов вышел из помещения роты и с укоризной сказал следовавшему за ним начальнику караула:

– Что ж ты, полено, не мог разнять их? Чуть не изувечили мальчишку.

– Да, товарищ младший лейтенант, – жалобно оправдывался тот, – как к ним подступиться-то? Того гляди самому в рыло двинут. К тому же стрелять не велено, бить – тоже, а из вахтеров, как на грех, нет никого.

Полный самых грустных размышлений, Звонов направился в комендатуру. Там он застал Лаптева.

– Да, тяжелый народ, – согласился Лаптев. – Собственники, те же кулаки. Ты погляди, как они жили: румынские крестьяне голодали, круглый год на одной мамалыге, а немецкие кулаки на базар сало и масло возами возили. У каждого батраки – венгерские, румынские, свои же немецкие. Ты не гляди, что они в домотканое одеты: у многих в хатах в глиняном полу куча денег зарыта. И все испорчены антисоветской пропагандой. С ними трудно будет, Саша. Работать-то они умеют, но заставить их можно будет только за хлеб и за деньги, а не за страх и за совесть.

– Мне всегда везет, – уныло заметил Звонов. – Лучше бы баб мне дали. С ними и то греха меньше.

Суттеров посадили в карцер. Запирая за ними дверь, начальник охраны ругался шепотом, как только умел. Они тоже принялись браниться румынской площадной бранью, не дожидаясь, пока его шаги смолкнут в конце коридора. Потом старший, Фердинанд, заплакал злыми слезами, сел на холодный пол и закрыл лицо руками.

– Сам черт не заставит меня работать на русских! Я их ненавижу!

– Но нам тогда не дадут есть, – тихо предостерег младший. – А может быть, и расстреляют…

Старший Суттер задумался, потом сказал:

– Если мы, Генрих, будем работать на русских, они вовсе никогда не отпустят нас домой, – и, приблизив к брату свое серое от злобы лицо, добавил: – Как настанет лето… мы отсюда убежим.

В лагере шел медицинский осмотр. Врач, молоденькая девушка, только в этом году закончившая институт и мечтавшая об отправке на фронт, а вместо этого направленная на работу в лагерь интернированных немцев, естественно, и не пыталась скрыть свое раздражение и брезгливо прикасалась к раздетым немцам.

– Гезунд? Во хабен зи шмерцен? – сердито повторяла она затверженные немецкие фразы, а стоявшему рядом переводчику Альтману говорила: – Скажите, чтобы рот полоскал и чище мылся. Голову обрить.

Больше всего раздражало «фрау докторин» то, что почти все немцы считали себя больными. Очень немногие на вопрос «здоров?» отвечали «да». Остальные начинали нюнить и выдумывать всякие болезни.

Глядя на их еще довольно упитанные тела, докторша сердито говорила:

– Воду на вас возить. Изжоги скоро не будет, не бойтесь.

Несмотря на строгий подход, молодая докторша все же обнаружила несколько туберкулезных и сердечных больных, много больных с язвой и гастритом. Крестьяне и крестьянки во множестве случаев страдали грыжей. Обнаружив также и венерические заболевания, она заявила комбату:

– Вызывайте венеролога. Я с сифилитиками возиться не намерена. И немедленно изолируйте всех венериков.

Комбат побелел от злости.

– Сукины дети! Ну куда я их, сволочей, изолирую? Проклятая нация, чтоб им всем пердохнуть!

– Что ты их ругаешь? – возразил Лаптев и со свойственным ему диалектическим подходом добавил: – Ругай румынское правительство, которое поощряло проституцию и строило публичные дома.

В результате осмотра выяснилось, что человек около ста могли выполнять лишь совсем легкую работу. От посылки их на лесозаготовки докторша советовала воздержаться.

– Некоторым необходимы операции. Вызывайте хирурга или кладите их в поселковую больницу. Кстати, пяти беременным женщинам выделите дополнительное питание. Лучше поместить их в отдельную комнату, более теплую и чистую, – она вдруг оставила свой прежний раздраженный тон, словно речь уже шла не о немцах.

Комбат криво усмехнулся:

– Не прикажете ли здесь санаторий для них открыть?

– Вы что, гестаповец, что ли? – сурово спросила докторша. – Женщинам скоро родить, а вам комнаты жалко.

Лаптев улыбнулся и шепнул ей на ухо:

– А ведь вы молодец, Олимпиада Ивановна!

– Ну, ладно! – махнул рукой Хромов. – Провались они все! К осени всех больных к чертовой матери обратно в Румынию! Пусть там себе грыжи вырезают. А здесь у меня им не лечебница. Я сам с ними того и гляди заболею.

Всем немцам, которые были признаны здоровыми, выдали валенки и теплые рукавицы, а у кого не оказалось пальто – стеганые ватники. Хотя было уже начало марта, по утрам держались морозы до двадцати пяти градусов. Примерка валенок длилась целый день. Почти всем они оказались велики, особенно женщинам – они могли засунуть в каждый обе ноги. Но в общем эта обувь, которой немцы отродясь не видели, всем понравилась. Кое-кто даже явился вечером в валенках на танцы.

Понравились они и Штреблю. Его уже два раза посыпали разгребать снег за зону, и оба раза он набирал полные ботинки снегу.

– Я захвачу эти сапоги с собой в Румынию, – сказал он шутя своему приятелю Беру.

Тот тяжело вздохнул, и лицо его приняло грустное выражение.

– Вы молоды, – произнес он, – и, конечно, увидите еще Румынию. А вот я… неизвестно. Может быть, через несколько дней, когда нас выгонят на работу, я не смогу выполнить свою норму, и меня посадят в карцер…

Штребль покровительственно потрепал его по плечу:

– Не бойтесь, старина, я вас не брошу. Вдвоем-то уж мы как-нибудь не пропадем.

С тех пор как Штреблю удалось раздобыть табак, продав через Чундерлинка свою бритву, он пребывал в бодром расположении духа. Правда, теперь, чтобы побриться, приходилось идти в общую лагерную парикмахерскую и терпеливо ждать там очереди, но это было не самое большое неудобство. Зато он выкуривал не менее десяти папирос в день и этим восполнял недостаток в пище. Его больше всего тяготило безделье. Спать много, как другие, он не мог, слонялся по лагерю, болтал во время прогулок с женщинами и каждый вечер шел танцевать.

Танцевали в большом зале на первом этаже в первом корпусе. Почти каждый второй немец играл на каком-нибудь музыкальном инструменте, и образовался оркестр: две скрипки, альт, флейта, кларнет, аккордеон. Всем заправлял Антон Штемлер, сам музыкант и страстный танцор. Он то играл на огромном бело-розовом аккордеоне, то брался за скрипку, то выбирал даму и входил с нею в круг. Весь вечер он ни на минуту не останавливался, и его рыжая шевелюра мелькала то здесь, то там.

Танцующих собирались порядочно, но в основном это были мужчины из первой роты и горожанки. Крестьяне и крестьянки этого зала не посещали, изредка только забегали подростки и робко жались в дверях.

Штребль любил танцы, а больше всего вальс. В нем он забывался и выглядел весьма романтично. Женщины посматривали на него с плохо скрываемым интересом. В танцах Штребль уступал только, пожалуй, одному Штемлеру.

Сегодня он танцевал с совсем молоденькой и очень хорошенькой брюнеткой с огромными бархатно-карими глазами и по-детски длинными ресницами, которая ко всем прочим своим достоинствам еще и отлично двигалась в танце. Штребль решил ни за что не уступать ее никому.

– Как тебя зовут, маленькая? – ласково спросил он.

– Мэди Кришер. Я из Бокши Монтана.

– Так мы почти земляки! Я из Решицы. В какой комнате ты спишь?

Между танцами Штребль узнал, что Мэди всего восемнадцать лет и она единственная дочь у своих родителей. У нее даже слезы набежали, когда она вспомнила, как ее увозили из дома. Штреблю стало искренне жаль девушку, он достал носовой платок и подал ей. Он решил, что перед ним еще ребенок, но когда они танцевали танго, вдруг почувствовал, как «ребенок» крепко, по-женски прижался ногой к его бедру. Тогда прижался и он, а рука его еще плотнее легла на ее талию. Девушка не смутилась и посмотрела ему прямо в глаза. Видавший виды Штребль был даже несколько шокирован.

– Ты мне нравишься, – тем не менее зашептал он, продолжая начатую игру.

– Ты мне тоже, – кокетливо ответила Мэди.

Не окончив танца, Штребль увел ее в темный коридор. Она смело пошла за ним и так же смело подставила ему губы для поцелуя.

Но долго целоваться им не пришлось: в конце коридора открылась дверь и показалась высокая фигура лейтенанта Петухова. Он шел разводить свою роту по местам. Увидев в уголке парочку, Петухов усмехнулся, но прошел, ничего не сказав.

– Шляfen, камарады! – раздался его басовитый голос у дверей зала. – Живо по местам!

Через полчаса, лежа на нарах под самым потолком, Штребль улыбался: «Много ли человеку надо, чтобы он вновь почувствовал себя счастливым? Хорошенькая живая девушка, и все неприятности забыты». Почекутив на щеке жжение и раздавив рукой клопа, Штребль вдруг пришел в ярость: сейчас этот отвратительный запах был ему особенно невыносим.

## 4

Лаптев продолжал квартировать у Черепановых.

– Живите у нас, товарищ лейтенант, – сказала Тамара, когда он, боясь стеснить хозяев, собрался было переходить на казенную квартиру.

– Милая Тамарочка, – смущенно ответил Лаптев, – если вы действительно хотите, чтобы я остался, зовите меня Петром Матвеевичем.

Лаптева устроили за перегородкой; приходя вечером домой, он надевал теплые старые валенки Василия Петровича и ел вместе с Черепановыми горячую картошку. Бабка, называвшая его «хворым», всегда оставляла ему банку молока. Иногда заходила сюда и Татьяна Герасимовна. Наговорившись вдоволь о делах, садились играть в дурака или цифровое лото по рублю ставка.

В тот вечер Лаптев был особенно рассеян и, как всегда, проигрывал.

– Ты что, влюбился, что ли, лейтенант? – спросила, посмеиваясь, Татьяна Герасимовна. – Уж не в Томку ли?

– Нет, в вас, – засмеялся он, сгребая со стола карты.

Когда она ушла, Лаптев как бы между прочим спросил Тамару:

– Ваша начальница замужем?

– Вдова она, – ответила Тамара и тяжело вздохнула. – У нее муж на драге работал, а в сорок втором как ушел на фронт, так сразу же и погиб.

– И дети есть? – сочувственно спросил Лаптев.

– Двое, мальчик и девочка. А третья девочка умерла прошлый год.

– Вот горе какое! А давно она у вас начальником лесной конторы?

– Года три. Сначала ее в десятники выдвинули, потом учиться послали на прораба. Семь лет она прорабом была на чисовском участке, а как начальник лесной конторы в армию ушел, на его место Татьяну Герасимовну и назначили. Очень хороший она человек! – заключила Тамара.

– Да, – охотно согласился Лаптев.

– Она неутомимая, – с удовольствием рассказывала Тамара. – Хоть кого спросите: встает чуть свет и сразу в лес. В конторе сидеть не любит. А у нас участок большой, по всему Чису километров сорок будет. Вот и колесит, где-нибудь у костра перекусит, и дальше. Зато работу уж она видит не по сводкам, а на самом деле. Ее никакой сводкой не обманешь.

– Я ее теперь бояться буду, – заметил Лаптев, и они оба засмеялись.

Рано утром четырнадцатого марта Лаптев и Тамара раньше обычного вышли из дома и направились к лагерю. По дороге их догнала на санках Татьяна Герасимовна.

– Не поморозим немцев? – спросила она, здороваясь. – Холод собачий! А ведь нынче Евдокия, надо бы курочке напиться...

Лошадка быстро домчала их к лагерю. За воротами были слышны гул голосов, топот ног, выкрики старост, называющих фамилии. Татьяна Герасимовна привязала лошадь к коновязи и пошла вместе с Лаптевым и Тамарой в лагерь.

Весь обширный двор был заполнен людьми. У корпусов строились роты. Впереди стояла первая рота. Суетился со списками в руках ее староста Вебер, немолодой уже немец с добрым широким лицом. Лейтенант Петухов ходил вдоль строя и сквозь зубы ругал немцев за отсутствие хорошей выправки.

Подошел комбат. Петухов отрапортовал:

– Первая рота батальона интернированных немцев построена. Трудоспособных первой категории – сто сорок человек, трудоспособных второй категории – тридцать семь человек, больных – одиннадцать человек.

Комбат тоже прошелся вдоль строя.

– Ну, смотреть бодро! Что мы вас, на казнь ведем, что ли? – крикнул он, потом подозвал Татьяну Герасимовну и Тамару. – Что, нравятся вам эти красавцы? Парни хоть куда! Вот хоть этот франт, – он указал пальцем на пепельнобородого Чундерлинка, очень импозантного в модном коричневом пальто. – Вы на них покрепче жмите. Если не будут как следует работать, пишите мне рапорт на каждого в отдельности. Я с ними быстро управлюсь.

– Мужики красивые, спору нет, да уж что-то больно шикарно одеты, – заметила Татьяна Герасимовна. – В лес бы надо одежонку похуже: пожгут все и порвут.

– Извините, не успел им в ателье рабочие костюмчики заказать, – съязвил комбат. – Но только вы зря беспокоитесь: у них багажу – кладовая ломится. Два вагона барахла я им из Румынии вез. А женить их здесь я не собираюсь, так что беречь ихние наряды нечего.

Тамара с любопытством разглядывала немцев. Их лица резко отличались от русских. Мужчины были похожи то ли на киноактеров, то ли на профессоров каких-то, как она их себе представляла. Женщины на нее особого впечатления не произвели. Тамара снова посмотрела на первую роту и вдруг встретилась глазами с высоким красивым парнем, который стоял с краю. Она покраснела и отошла в сторону.

– Что, не понравилась вам наша команда, Тамарочка? – спросил Лаптев.

– Будут ли они работать? – с сомнением сказала она, косясь на немцев.

Штребль, взгляд которого так смущил девушку, услышал ее и понял. Подобрав несколько известных ему русских слов, он выпалил:

– Мы будем хорошо работать.

Тамара покраснела и ответила по-немецки:

– Это мы увидим.

– Фрейлейн говорит по-немецки! Кто она такая? – раздался удивленный шепот.

– Будет там болтать! – крикнул комбат. – Махен, захен, шляхен, черт вас поберихен! В лесу наговоритесь. Петухов, выводи лесорубов на улицу. Звонов, как твоя рота?

Саша Звонов, красный, потный, взволнованный, подбежал и отрапортовал:

– Рота построена! Трудоспособных – сто двадцать человек, вторая группа – двадцать один человек, больных – семь человек и, я извиняюсь, товарищ старший лейтенант, которые совсем оказались раздетые – одиннадцать человек. Не в чем построить, сидят в корпусе.

– Что за чертовщина! Куда же они одежду дели?

– Не иначе попрятали. Сам все обшарил, товарищ старший лейтенант. Вчера еще ходили по двору в одежде...

Комбат, не стесняясь женщин, крепко выругался, потом махнул рукой Отто Грауеру. Тот быстро подбежал.

– Выдай этим одиннадцати паразитам телогрейки из командирского фонда. И чтобы вечером отобрать и найти их собственные.

– Беда, – объяснял Звонов Татьяне Герасимовне и Тамаре, – два часа собирались: только отвернешься, куда-то пиджак с него исчез, другой шапку прячет. Чистые симулянты! Свое хоронят, требуют казенного.

Татьяна Герасимовна покачала головой:

– Ну, народ! Хватим мы с ними горя. До чего же несознательные! Они наших небось голышом гоняли, а сами требуют: подай им то, другое...

Хромов разъярился:

– Я их, сукиных детей, поморожу, а одежды им не дам, пока не заработают. Они думают, что Россия – это собес для фашистских подонков. Потом своим заставлю заработать! В землю затопчу!

Лицо у комбата стало дергаться, запрыгала левая бровь. Лаптев взял его за рукав и потащил в сторону:

– Да успокойся ты! Есть из-за чего себя волновать.

Комбат перевел дух и скомандовал:

– Марш за ворота!

Вторая рота, ежась и топчась, нарушая всякий строй, повалила за ворота.

– Мингалеев, давай баб! – крикнул комбат.

Из глубины двора тронулась третья рота. Крестьянки торопливо двигали ногами, обутыми в огромные валенки. На всех были длинные теплые шали. Горожанки дрожали в своих коротких пальтишках.

Мингалеев оскалил зубы и отрапортовал:

– Третий рота – сто сорок пять человек весь здоровый, тридцать три человека – кухня, десять – прачечная, пять человек – ничего не делай: декретный отпуск. Остальной – налицо.

– Молодцы бабки! – немного успокоившись, сказал комбат. – Веди их, Салават.

Тамара и Татьяна Герасимовна тоже вышли за ворота.

– Ну, Томка, счастливо тебе! Идите по тракту прямо до новой делянки. Я догоню вас.

Тамара растерянно спросила:

– А они не разбегутся у меня?

– Небось не разбегутся. Куда им бежать-то? Шагай передом, а сзади десятники пойдут, Влас Петрович с Колесником.

– Ни пуха ни пера! – вышел напутствовать Лаптев. – Не робейте, Тамарочка. Завтра и мы приедем на лесосеку.

Тамара вышла вперед и не очень уверенно скомандовала:

– Геен!

Она шла, не оглядываясь, слыша за собой скрип снега под множеством ног и шумное дыхание четырехсот немцев. Было страшно, но она изо всех сил старалась не подать виду. Солнце выплывало из-за горы, ярко-оранжевое, в белых парных облаках. Мороз слегка отпустил: близилась весна.

Штребель жадно глядел вокруг. Леса и горы – все под глубоким снегом, сбоку – поселок, над каждым домиком – тоненький, прямой, как свечка, столбик дыма. Дорога накатанная, блестящая, уходит далеко в даль. Белокурая девушка впереди все идет и идет, не оборачиваясь. Штребель глядел на нее, и в его душу запало радостное чувство: не вооруженный до зубов охранник гнал их на работу, а вела симпатичная русская девушка, одетая в старую ватную куртку и подшитые валенки.

– Откуда вы знаете немецкий язык, фрейлейн? – осмелев, спросил Штребель.

Тамара, не повернув головы, ответила:

– В школе учила.

До лесосеки по тракту было около четырех километров. Немки, не привыкшие к тяжелым валенкам, начали отставать.

– А ну, подтянись! – покрикивал на них старишок-десятник Влас Петрович. – На юбки наступлю!

Старик ворчал всю дорогу и ругал немцев на чем свет стоит.

– Два сына у меня было. Где они? Подайте-ка мне сыновей! Ах вы, б… нехристи не нашего Бога! Были бы сыновья живы, я бы… вашу мать, и дорогу в лес уже позабыл. А из-за вас, проклятых, иди, мерзни, как пес. Ни дна бы вам, б… ни покрышки!

– Ладно тебе, дядя Влас, – рассудительно сказал другой десятник, недавно вернувшийся с фронта однорукий Колесник. – Слава богу, что мы их гоним, а не они нас.

Тамара свернула с тракта в лес. Немцы, сбившись в кучу, повалили за ней, увязая в снегу. Тропка привела на большую поляну. У маленькой лесной сторожки стояли сани с топорами и пилами.

— Возьмите инструмент, — по-немецки сказала Тамара. — Бери, бери, — поспешило добавила она по-русски. — Цвей топор, одна пила на троих.

Подъехала Татьяна Герасимовна. Вылезая из саней, крикнула Тамаре:

— Баб смешай с мужиками! Баб, говорю, не бросайте одних! Чего они одни-то нарабатывают? Ни колоть не могут, ни что… Тома, бери вот этих, помордастей, веди в лес, — она указала на мужчин из первой роты.

Тамара махнула рукой:

— Пошли!

Влас Петрович отобрал себе мужчин из второй роты. Колесник обиженно заметил:

— Что ж, мне одна шваль досталась?

— Чем же они шваль? — рассердилась Татьяна Герасимовна. — Что плохо одеты? Может, лучше работать будут, чем те, нарядные. Инструмент берите, айда с богом!

Тамара вывела свою партию на просторную снежную поляну. Посередине красовались три высокие разлапистые ели.

— Лиса! — восторженно закричал Бер, заметив рыжий комок, который мелькнул и скрылся между елок. Неожиданно упавший снежный ком засыпал всех холодными иглами.

Крайняя ель была огромная. Вершина ее, казалось, упирается в холодные снежные облака, а ветки-лапы держат на себе каждая не менее пуда снега.

Тамара скинула телогрейку и знаком подозвала стоящего рядом немца.

— Бери пилу. Остальные отойдите подальше, — она махнула рукой в сторону.

Немец согнул длинную спину, чуть-чуть высунул язык и принялся дергать за ручку пилы.

— Ровней пили, не дергай! — строго сказала Тамара. — Гут надо зеген. Ферштейн?

— Гут, — буркнул немец и снова согнулся.

Мерзлое дерево сопротивлялось, пила звенела и гнулась. Тамара вынула из-за пояса топор и стала подрубать. Вновь поднялся снежный вихрь, и закружилась серебристая пыль. Тамара подозвала Штребеля.

— Умеете пилить? — спросила она его по-немецки и немного покраснела за свое произношение.

— Яволь, фрейлейн. Я столяр.

Снова зазвенела пила. Пилили очень долго. Слабый скрип внутри дерева означал, что ель уже сдается и скоро рухнет вниз. Скрип этот усиливался и перешел в стон, а затем ель начала медленно крениться, задевая ветками соседние деревья и снова поднимая снежную метель.

— Ахтунг! — крикнул Штребель.

Раздался сильный треск, свист рассекаемого воздуха, и ель с печальным гулом упала на землю, поломав своей тяжестью молодые елочки и пихты. Обнажился пень, светло-розовый, просторный, как обеденный стол, накрытый скатертью.

Штребель старался унять дрожь в коленях и с трудом разогнул затекшую спину.

— С непривычки-то тяжело, — улыбнулась Тамара. — Гут арбайтен, камарад!

Она достала спички. Вскоре запыпал огромный костер. Гигантские ветки с воем корчились на огне. От каждой подброшенной в костер еловой лапы взвивался целый фейерверк искр. Скоро огромный, очищенный от ветвей ствол угрюмо лежал в снегу, а вся былая краса дерева превратилась в груду пепла и тлеющих углей, над которыми немцы грели озябшие руки.

— Ну что, поняли, как работать? — спросила Тамара.

— Я, юнге фрейлейн, — ответило несколько голосов.

— Ну, глядите дальше.

Вместе с плечистым Раннером она отпилила первую чурку. Поставив чурку на попа, она тяжелым колуном разбила ее на плахи. Мерзлое дерево разлеталось, как стекло.

— Вот и все. Расходитесь подальше друг от друга и начинайте.

Тамара развела всех по лесу. Застучали топоры. Раздвигая ветки, на поляну вышла Татьяна Герасимовна.

– Ну, как дела? Двигаешься помаленьку? А прогадала ты, Томка, что взяла этих франтов: вон у Власа да у Колесника те немцы, что в узких штанах, им рта разинуть не дали, взяли топоры и давай жарить, как заправские лесорубы. Их и учить нечего. И бабы в красных юбках пилят так, что любо! Один долговязый мне и говорит: в Румынии дома тоже в лесу работал.

– И этих обучим, – не совсем уверенно сказала Тамара.

Но вечером из лесосеки она возвращалась печальная. Понуро брели за ней и усталые немцы. Первый день не обещал ничего хорошего: только очень немногие – плотники и столяры – умели держать в руках пилу и топор. Остальные чувствовали себя совершенно беспомощно. Люди эти никогда даже не видели, как рубится лес, не умели разжигать костры, метались, суетились, вязли в снегу, мешали друг другу, рискуя быть задавленными деревом. «Можно подумать, вчера только на свет родились, – сердито думала Тамара. – Как они норму-то будут выполнять?» Но все же ее отчасти утешало то, что большинство немцев обнаружили явное желание работать. Поэтому, когда у лагеря их встретили комбат и Лаптев, на вопрос: «Как дела? Небось, весь лес вырубили?» – Тамара, тряхнув головой, ответила весело: «Не вырубили, но вырубим!»

## 5

Поздно вечером Тамара сидела за немецким словарем. Подперев усталую голову кулаком, борясь с дремотой, она твердила:

– Дрова… дас хольц, сучья… ди эсте… ди эсте.

– Томка, будет тебе язык-то ломать! – прикрикнул Василий Петрович. – Ложись, квартиранта разбудишь!

– Сейчас… Сжигать… фербреннен. И что я, дура, в школе не учила! Как бы годилось! Топор… ди акст…

Вообще-то в школе она училась хорошо, и немецкий ей давался легко, поэтому она себя им не очень-то и утруждала. Стоило ей день-другой позаниматься перед экзаменом, и немецкие слова сами собой начинали крутиться на языке.

Утром Тамара поднялась с трудом. Забрала хлеб и пошла.

– Томочка, ты бы не оставалась одна с солдатами-то, – шепнула ей вслед бабка, все еще никак не понявшая, что эти немцы вовсе не солдаты.

Девушка только весело махнула рукой и убежала.

– Сегодня мы не должны лицом в грязь ударить, – объясняла она, как умела, идущим за нею немцам. – Сам комбат с офицерами в лес приедет. Вы поменьше суетитесь и не орите без толку. Работать попробуйте по трое. Легче будет. Цвей ман и ейне фрау. Понятно?

Штребель и Вер взяли к себе в бригаду рослую немку Розу Боден. Штребель видел, как она вчера первой из женщин сбросила пальто и работала в одном свитере.

Лес был настолько строен и красив, что рубить его было жалко. Когда Тамара отдала распоряжение о сплошной рубке, послышался удивленный шепот.

– Такие прелестные елочки! – с чувством сказал Бер на ухо Штреблю. – Из них выросли бы роскошные деревья.

Тем не менее немцы взялись за дело. То тут, то там раздавались возгласы «Ахтунг!», потом стук упавшего дерева. Когда часа через два Тамара стала обходить делянки, то увидела, что у большинства уже навалено много леса и пылают яркие костры.

Штребель выбрал удачное место – на опушке. Деревья падали на чистую снежную поляну. Бер, пыхтя и сопя, пилил вместе с краснощёкой Розой Боден, засучившей рукава по локоть. Штребель тоже работал без куртки.

Тамара подошла ближе и улыбнулась: этот голубоглазый вихрастый парень так тщательно очищал ствол ели от сучьев, как будто готовил его не на дрова, а собирался дом строить. Она хотела взять у него топор, но отпрянула, увидев, что все топорище заляпано кровью.

– Что это? – испуганно спросила она.

Штребель протянул ей руку. От указательного пальца до запястья розовел кровоточащий шрам.

– Благодаря этой небольшой ране меня демобилизовали из армии, – по-немецки произнес он. – Мне не больно, фрейлейн. Рубец совсем старый.

Тамара вытащила из сумки кусок бинта.

– Завяжите, – сказала она строго. – Как вас зовут?

– Рудольф Штребель, прекрасная фрейлейн. Номер сто двадцать восемь.

– Шёне юнге фрейлейн! – подбежала к ним запыхавшаяся Роза Боден. – Вы так добры к нам! Мы не ожидали, что русские так к нам отнесутся.

– Не понимаю я, – ответила Тамара, явно недовольная появлением немки, что не ускользнуло от внимательных глаз Штребеля.

Потом Тамара побывала еще в нескольких бригадах. В большинстве случаев дело тормозили женщины: они поминутно отдыхали, переговаривались, предавались воспоминаниям, некоторые плакали. Мужчины же не решались их подгонять.

– Это что же у вас за заседание? – строго спросила Тамара, увидев, как три немки сидят на поваленном дереве и беседуют, а двое мужчин изо всех сил пилят толстую березу.

– Фрау на Романия нет работать, фрейлейн, – с трудом переводя дух, сказал длинный тощий немец.

– Это я уже слыхала! – разозлилась Тамара. – А мы, русские, значит, можем? Норму кто за них будет выполнять? Кто норма махен?

Немцы пытались ей что-то объяснить, потом стали ссориться между собой. Тамаре надоела их перебранка.

– Давайте работайте! – скомандовала она и пошла дальше.

Немцы же продолжали ссориться.

– Надо убрать женщин к черту! – кричал Раннер. – В конце концов, я не желаю из-за них в карцере сидеть! Я не лошадь, чтобы работать за всех!

– Раннер, ты что, взбесился? – визжала Магда.

– Что там взбесился! Раз от вас нет никакого толку, убирайтесь! Пускай хауптман посадит вас себе на шею. А мы будем работать вдвоем.

– Но не могу же я бросить жену? – жалобно произнес Шереш, преданными глазами глядя на свою Юлию. – Вы какой-то безжалостный, Раннер…

– Он просто идиот, – вставила Магда.

– Неужели вам не стыдно, Раннер? – кокетливо повела плечом маленькая Мэди.

– Пилите же, Шереш, черт вас побери! – зарычал Раннер, хватаясь за ручку пилы. – Посмотрим, что вы вечером запоете!

Последняя бригада – отставной обер-лейтенант Отто Бернард, кондуктор спальных вагонов Фридрих Клосс и рыжий музыкант Антон Штемлер – привела Тамару в полное отчаяние. Единственная сваленная ими за весь день тонкая береза с изгрызенным комлем лежала глубоко в снегу. По обе стороны топтались отставной обер-лейтенант и кондуктор спальных вагонов. Первый – небольшого роста, тонкий в талии, как оса, сухой старишка с рачими выпуклыми глазами и в пенсне на остром синем носу; второй – длинный, элегантно одетый, с глупейшей улыбкой на бледном вытянутом лице. Они не пилили, а царапали пилой по дереву. Один отпилленный ими за все время березовый кругляш рыжий музыкант пытался расколоть на две части. Он ставил его стоймя, но как только взмахивал топором, кругляш падал в снег, и немец начинял его выгребать из снега длинными покрасневшими пальцами.

Тамара посмотрела и плонула. Вырвав из рук музыканта топор, она положила кругляш боком и одним ударом по торцу расколола его на два полена. Потом принялась распекать Бернарда и Клосса. Бернард выпятил грудь колесом и скрестил по-наполеоновски руки. Его оскорбляло, что русская девчонка вздумала его учить. Зато кондуктор спальных вагонов заулыбался еще глупее и стал твердить:

– Битте, битте… энтшульдигунг…

– Битте, битте, а сами ни с места! – обозлилась Тамара. – Берите пилу, фрицы проклятые! Им говоришь, а они в глаза смеются!

Когда Тамарой овладевало волнение или гнев, все немецкие слова вылетали у нее из головы. Она путала русские слова с немецкими и чаще всего заканчивала тем, что ругала немцев по-русски. Те быстро усвоили: раз фрейлейн говорит по-русски, значит, она сердится.

Отчаявшись что-либо объяснить немцам, Тамара оттолкнула Бернарда и принялась покашивать Клоссу, как надо пилить. В это время, как назло, из леса появились Хромов, Лаптев и Петухов.

– Ну, как дела? – спросил Хромов.

– Сами видите, – хмуро ответила Тамара, кивнув на единственное два полена.

Комбат сделал зверское лицо и пошел прямо на обер-лейтенанта:

– Ты что, работать не желаешь? Нихт арбайтен? Да знаешь ли ты, пугало огородное, что я тебя наизнанку выверну! В лепешку расшибу!

Отто Бернарду повезло, что он не понимал по-русски, иначе он перепугался бы до смерти. Он и так попятился, споткнулся и сел в снег, задрав кверху тоненькие ножки в огромных валенках. Лаптев и Петухов не удержались от смеха. А комбат принялся за Клосса. Тот, едва дыша от страха и широко открыв рот, застыл с пилой в руках. Комбат тоже схватился за пилу:

– Пили, так твою… и не так! Пили, говорю!

У Клосса так дрожали ноги, что он едва стоял. Бледные губы шептали:

– Битте, битте…

Вырвав у него пилу, комбат швырнул ее в снег. Клосс бросился поднимать. Комбат хотел швырнуть снова, но вдруг заметил, как рыжий музыкант кинулся бежать и спрятался за большой сухой пень. Это показалось Хромову так смешно, что он громко расхохотался.

– Задал я им страху! Ничего, на пользу пойдет. А ты, – обратился он к Тамаре, – им спуску не давай. Если не выполнят норму, держи всю ночь в лесу.

– А я что, тоже должна сидеть с ними в лесу? – резко спросила она. – Мое дело их работать научить, а уж экзекуцией сами занимайтесь!

Хромов сердито посмотрел на нее и, ничего не ответив, отправился на другую делянку.

Здесь работала бригада Эрхарда. Не замечая приближения офицеров, Эрхард колол дрова, не выпуская изо рта папиросы. Комбату видна была его спина в теплой кожаной жилетке.

– Тут, я вижу, дело идет по-другому, – громко по-немецки сказал Лаптев.

Эрхард не спеша повернулся.

– Работа в лесу и свежий уральский воздух сильно возбуждают аппетит, господин офицер, – сказал он, воткнув топор в ствол дерева. – Если бы нас получше кормили, мы могли бы и работать еще лучше.

Лаптев перевел Хромову его слова. Тот рассердился:

– Какого же им еще черта нужно? Три раза в день они получают горячую пищу, восемьсот граммов хлеба. Не пирожными же их кормить?

– Кстати, обед им еще до сих пор не привезли, – заметил Лаптев, – а уже второй час.

А Хромов уже пошел дальше.

– Вот видишь, – через плечо сказал он Лаптеву, – они могут работать, если захотят. Значит, нужно на них жать. А всякие ихние недовольства нечего выслушивать. Они, видно, забыли, что они в плену.

– Иногда выслушивать не мешает, а то мы вряд ли добьемся от них хорошей работы.

– Рассусоливать с ними я не намерен, – резко оборвал комбат. – Можешь сам этим заниматься, это больше по твоей части. А у меня свои меры… Петухов, подашь мне сегодня рапорт о выполнении нормы по твоей роте.

– Есть, – ответил не совсем довольным тоном Петухов.

Обойдя всех немцев из первой роты, комбат понял, что норму они вряд ли выполнят. Появление офицеров в лесу переполошило и без того суматошных немцев, женщины плакали, боясь предстоящего наказания.

– Паршиво у тебя идет дело, – сказал Хромов Тамаре. – Чем ты можешь это объяснить?

– За один день не обучишь людей работать, – угрюмо ответила она.

– Подумаешь, какое искусство – дрова рубить, – недовольно отозвался комбат, – что это, на гитаре играть, что ли?

– Да на гитаре-то им легче научиться, чем лес валить. Что же вы хотите, если они в первый раз в жизни взяли пилу и топор в руки? Нужно их учить, а не застраивать, – глядя прямо Хромову в глаза, выпалила Тамара.

Комбат шагнул к ней и грубо взял за плечо.

– Ты это что же, меня учишь? Меня, командира Красной армии! Ты еще сопля! Поняла?

– Рукам воли не давай, товарищ Хромов, – раздался позади голос Татьяны Герасимовны. – Тут тебе не жены и не ухажерки, – она отстранила Хромова от Тамары и загородила ее своим большим телом. – Уж ты давай, командуй у себя в лагере, а в лесу мы начальники.

Тамара отвернулась и, чтобы скрыть слезы, бросилась в сторожку, где Влас Петрович точил топоры и пилы.

– Ты чего, Тамара Васильевна, заревана? – спросил стариk. – Уж не немцы ли тебя обидели?

– Нет, свои, – тихо ответила она, села в угол и стала жевать печенную картошку, которую Влас Петрович подготовил ей на обед.

Комбат с Петуховым уехали, а Лаптев, завидев Татьяну Герасимовну, решил задержаться.

Наконец привезли обед на двух подводах, и Тамара побежала звать своих немцев. Услыхав про обед, все побросали работу и помчались к сторожке. Девчонка, привезшая обед, испугалась не на шутку, когда из леса вылетела целая ватага здоровенных мужиков и плотно окружила сани. Взмахнув черпаком, девчонка закричала:

– Что вы, с цепи сорвались, что ли? Отойдите сейчас же от термосов! Прольете – сами не жравши останетесь!

Лаптев и Татьяна Герасимовна поспешили на выручку.

– Станьте в очередь! – приказал Лаптев. – Чем больше будет порядка, тем быстрее получите.

Мисок для первого и второго в отдельности не хватало. Штребль махнул рукой:

– Лейте все в одну!

Его примеру последовали и другие. Только самые привередливые, вроде Чундерлинка и Ландхарта, предпочли встать в очередь во второй раз. Штребль, который чертовски проголосился, изо всех сил стараясь выполнить норму, с жадностью ел щи и гороховую кашу, и ему казалось, что он мог бы есть бесконечно. Женщины ели не спеша, и некоторые даже не осилили свою порцию. Хлеб они подсушивали над костром, насадив его на прутик.

Со второй ротой оказалось значительно труднее: крестьяне не признавали порядка, и, сколько Лаптев ни кричал, все получалась не очередь, а толпа. Стоило девчонке зазеваться, как из корзины исчезло несколько кусков хлеба. Недостача обнаружилась только тогда, когда не хватило хлеба последним. Девчонка пришла в ужас, а немцы, оставшиеся без хлеба, принялись причитать и браниться.

– Кто из вас взял лишнюю порцию хлеба? – строго спросил Лаптев. – Лучше сознавайтесь сами, хуже будет, если на вас укажут другие.

Немцы молчали, продолжая чавкать.

– Вашим четырем товарищам не хватило хлеба! Как вам не стыдно! – попытался увершевать их Лаптев, но заметив, что немцы не обращают на него никакого внимания, заорал: – Встать! Если не признаетесь, завтра все будете без хлеба сидеть!

Бледный, худой подросток, поставив миску на пень, дрожащим голосом сказал:

– Одну порцию взял я... Я ее уже съел. А Георг Ирлевек взял еще три порции.

Ирлевек волком поглядел на мальчишку-предателя.

– Дайте сюда хлеб! – приказал Лаптев.

Ирлевек неохотно стал извлекать куски из-за пазухи. Мятый хлеб крошился и выглядел совсем неаппетитно, но бёмы съели его с жадностью.

Лаптев велел девчонке налить им остатки супа. Презрительно посмотрев на Ирлевека, Лаптев повернулся и пошел в сторожку.

Татьяна Герасимовна и Тамара сидели у жарко натопленной печки. Влас Петрович точил топор.

— Вот окаянные-то! — ворчал старик. — Все лезвие изгрызено у топора, ровно камень рубили... твою мать! У пил зубья суки ломают, у топоров обуха раскалывают, топорищ не наберешься, — и старик для выразительности все прибавлял и прибавлял ругательства, не особенно стесняясь женщин.

— Уж ты больно, Влас Петрович, матом садишь, — недовольно заметила Татьяна Герасимовна. — Ни к чему это, особенно при немцах. А у тебя что ни слово, то матюг. Я слышала, и немцы у тебя переняли. Они, видно, думают, что это поговорка такая. А если они начальство матом обложат? Куда тогда деваться?

— Ладно уж... — буркнул Влас Петрович и почесал в затылке.

Лаптев и Татьяна Герасимовна стали собираться.

— Ну, прошай покуда, Тома. Объяви немцам: кто по два метра напилит, дадим еще двести граммов хлеба и талон на горячее питание. Но только смотри: по доброте сердечной поблажки никому не делай. А на комбата ты внимания не обращай. Мы его обломаем по уральскому обычаю, шелковый будет наш комбат, правда, товарищ Лаптев?

Надвигался вечер. Догорали костры, от них вился тоненький сизый дымок. Похолодало, и снег стал тверже. Тамара в последний раз пошла обходить бригады.

## 6

Штребль настолько устал, что, войдя в комнату и опустившись на нары, уже не мог стянуть с ног тяжелые, набухшие сыростью валенки. Только отдохнув несколько минут, он кое-как разделся и, несмотря на усталость, решил пойти умыться. А Бер как завалился на нары прямо в верхней одежде, так и лежал, жалобно постанывая.

— Я пальцем шевельнуть не могу, — сказал он Штреблю. — Провались все дрова, все нормы и все талоны! Может быть, вы будете настолько добры, Рудольф, что принесете мне ужин сюда? Честное слово, встать не могу.

Штребль взял большую банку из-под консервов и отправился в столовую. За столами его соотечественники усердно скребли ложками по глиняным мискам. Немки в белых передниках разносили на подносах дымящийся суп. У Штребля нестерпимо засосало под ложечкой. Он нашел свободное место и, проглотив слону, спросил соседа по столу:

— Что сегодня на ужин?

— Как всегда, щи и горох. Тем, кто имеет дополнительный талон, кукурузная каша и белый хлеб.

Штребль крепко сжал в кулаке маленький розовый талончик, который он получил сегодня от Тамары. Когда перед ним поставили сразу три миски: одну со щами, другую с горохом, а третью с кашей и белой булочкой, он дрожащей рукой взял ложку и быстро принял есть, обжигаясь и почти не чувствуя вкуса пищи.

— Хотите, сударь, я подам вам чаю? Только без сахара, — спросила немка, убравшая посуду.

— Благодарю, давайте и без сахара, — с готовностью ответил Штребль.

Он ел и чувствовал на себе завистливые взгляды соседей.

— Каша, кажется, с маслом? — осведомился один из них, когда Штребль оторвался от миски.

— Довольно порядочная порция, — заметил другой.

А чай-то злобный голос прошипел:

— За эту кашу некоторые собираются продать себя русским со всеми потрохами.

Штребль не успел ответить на это замечание, как раздался голос Грауера:

— Штейгервальд, не устраивайте здесь пропаганды!

Штребль оглянулся: Грауер стоял в дверях, сгорбившись и, как всегда, спрятав руки в карманы. Его крупные хрящевые уши обладали поразительной способностью все улавливать даже в шуме голосов.

— Я и не думаю заниматься пропагандой, геноссе лагер-комендант, — проговорил, смутившись и поднимаясь со своего места, лысый Штейгервальд. — Просто мне кажется неразумным так много работать за миску кукурузы. Но это мое личное мнение, и я его никому не навязываю.

— Вы уже съели свой ужин?

— Да.

— Покиньте столовую. Я еще поговорю с вами.

Все недоуменно переглянулись. Тон Грауера немцам не понравился. Только недавно этот сорокапятилетний, ничем не примечательный Грауер ехал вместе с ними в одном поезде, а теперь ведет себя как большой начальник. Грауер тем временем уселся возле Штребеля.

— Я слышал, камарад, что вы хорошо проявили себя сегодня в лесу, — сказал он покровительственным тоном. — Это похвально. Я буду вас ставить в пример другим.

— Никому я не собирался подавать пример. Просто хотел заработать лишнюю порцию к ужину и не попасть в карцер.

— Хауптман не так жесток: пока карцер пустует. Но от нас самих зависит, чтобы он и впредь пустовал. Если подобные разговоры, — он пальцем указал на дверь, в которую только что вышел Штейгервальд, — будут иметь место, не рассчитывайте найти во мне защитника.

Грауэр наконец ушел, а Штребель мысленно послал его к черту и снова принял за еду. Но аппетит уже был испорчен. Он получил ужин для Бера и отправился в свой корпус. На дворе сгущались сумерки, темные фигуры немцев вяло брели по двору. Вид у всех был усталый и печальный. Невольно это передалось и Штреблю. Правда, наевшись, он опять почувствовал прилив сил, но вечерний сумрак и грустная шопеновская мелодия, доносившаяся из красного уголка, навевали на него тоску. Он подумал о том, что на родине уже зацветают розы, а здесь лежит глубокий снег и до тепла еще, видимо, далеко.

— Ешьте, Бер, — сказал он, поставив еду на тумбочку. — Вы спите, что ли?

Бер спал, согнувшись калачиком. Он сильно похудел за последние дни. Штребель разбудил его. Бер поел и снова уснул.

Забравшись к себе на верхние нары, Штребель в рассуждении чем бы заняться оглядел комнату: рядом и внизу спали люди, хотя было лишь около семи часов вечера. Кое-кто разделялся, большинство же спали прямо в верхней одежде, ничком, уткнувшись в подушку.

Со свистом хрюпал Франц Раннер. Он, бедняга, работал изо всех сил, но талона не заработал: подвели женщины. Справа от него тихо лежал Ландхарт. Вверху над ним — Шереш. Длинные ноги в пестрых носках торчали наружу. Он тоже еле до лагеря дотащился и почти на себе донес свою супругу. Во сне он всхлипывал. Напротив него — Эрхард. Этот спал на спине, вытянув по бокам огромные ручищи. Широкая грудь в коричневом жилете вздымалась ровно. Отто Бернард скорчился, утратив во сне наполеоновскую осанку и превратившись в жалкого старикашку, напоминающего побитую собачонку.

Поболтать было не с кем, и Штребель прилег, но тут дверь приоткрылась и появилась большая кудрявая голова старосты роты Вебера.

— Хауптман обходит роту, встаньте и приведите в порядок постели!

Штребель недовольно поднялся:

— Вот еще, черт побери! Нельзя и отдохнуть. Бер, вставайте!

Немцы с кряхтеньем и бранью поднимались со своих мест и поправляли смятые постели. Только один Ландхарт продолжал лежать, повернувшись лицом к стене.

— Вы что, Генрих, оглохли, что ли? — спросил его Шереш сверху.

— Идите к дьяволу! — глухо ответил Ландхарт.

— Полно, не дурите, Генрих, с хауптманом шутки плохи.

Хромов широко распахнул дверь. За ним появились одноглазый Петухов и Вебер. Комбат быстрым взглядом окинул комнату. Он сразу же заметил лежащего на нарах Ландхарта, но промолчал. После нескольких секунд полной тишины Хромов громко обратился к Веберу:

— Староста! Почему все люди сосредоточены по комнатам? Для кого организована библиотека, музыкальный уголок, танцкомната? Почему не посещают политбеседу? Что это за дрыхотня такая в неурочный час?

Вебер опустил глаза:

— Люди устал, господин лагеркомендант.

— Устали! Тут что, все лесорубы? Ага, ага, узнаю, — комбат покосился на Бернарда и Клосса. — Ну, я понимаю, тот устал, кто хорошо работал. А те, кто лодыря корчил? — он подошел к нарам, где лежал Ландхарт. — Староста, в роте имеются больные?

— Нет, господин лагеркомендант.

— Так почему же этот гад лежит? — все больше распаляясь, почти закричал Хромов.

— Ландхарт, штеен зи ауф, — зашептал Вебер.

Ландхарт приподнялся и повернулся к комбату. Его давно не бритое опухшее лицо было мокро от слез. Губы дрожали.

— Скажите ему, Вебер, — еле выговорил он, — что никакая сила не заставит меня снова идти в этот проклятый лес. Я им не работник.

Все испуганно замерли.

— Что он сказал? — спросил Хромов.

Вебер медлил с ответом.

— Он просить господин официр дать другой работа, — сказал он наконец. — Ландхарт есть автомеханик. Работа на лес нехорош.

— Ах нехорош! — иронически произнес комбат. — А мне вот нехорош командовать вашей свинячьей командой, а приходится. Еще каждый паразит будет мне свои требования выставлять! Вебер, скажи ему, этому болвану, пусть себя сначала в лесу хорошо проявит, тогда переведу в механическую мастерскую.

Хромов вышел, хлопнув дверью. Петухов немного задержался, подошел к Ландхарту и, тронув его за плечо, сказал:

— Не реви, не баба. Я поговорю с комбатом. А теперь, ребята, держите ухо востро! Кто и завтра норму не выполнит, комбат приказал в карцер садить без разговоров. Переведи-ка им, Вебер!

После ухода офицеров сон был забыт. Немцы принялись обсуждать случившееся и дошли до крика.

— Надо требовать, чтобы от нас убрали женщин! — громче всех кричал Раннер. — С ними мы никогда не выполним норму!

— И без женщин не выполним: слишком высокая норма!

— Однако же есть и такие, которые выполняют. Вот из-за них мы и будем страдать, — заявил Чундерлинк и покосился на Штребеля и Бера.

— Вы бы лучше помолчали, Чундерлинк, — спокойно ответил Штребель. — Думаете, вас везли так далеко, чтобы вы здесь целый день в носу ковыряли? Скажите спасибо, что с нами как с людьми обращаются. Мы другого ждали.

До сих пор молчавший Ландхарт вскочил:

— И это вы называете человеческим обращением? Оторвали от семьи, завезли черт знает куда, загнали по колено в снег и заставляют выполнять невыполнимое! Чего же еще можно желать? Все прекрасно! Завтра вам не дадут жрать, если вы не выполните их проклятую норму, а если выполните, наградят миской вонючего пойла. Будьте довольны! Это, видно, идеалы коммунистов?

— Ну, вам не постигнуть идеалов коммунистов вашими профашистскими мозгами, — ответил все так же спокойно Штребель.

Сам он относился к коммунистам с некоторой симпатией, поскольку, как человек небогатый, считал, что мир устроен не совсем справедливо. Штребель с восьми лет был сиротой и после смерти матери жил сначала в доме деда-венгра, а потом у старшей сестры. Последние годы передвойной он неплохо зарабатывал на мебельной фабрике, и денег ему в общем-то хватало, чтобы прилично одеться, попить пива в воскресенье и в случае чего расплатиться с женщиной за доставленное ею удовольствие. Такая жизнь его вполне устраивала. Но если он задумывался о будущем, хотя это редко с ним случалось, то выходило, что ждать ему от судьбы подарков не приходится. Тогда он с завистью посматривал на богатые дома соседей, на их машины, а главное — на их красивых, ухоженных жен, и приходил к выводу, что коммунисты правы, когда говорят, что все должны быть равны. Но вступить в их партию ему бы никогда и в голову не пришло — у него были в жизни совсем другие интересы. Однако сейчас из чувства протеста он мог наговорить что угодно.

— А еще хотят, чтобы мы пели и танцевали, — не унимался Ландхарт, — это уж прямое издевательство! Вряд ли у кого-нибудь появится желание после этой адской работы петь и танцевать.

– Да, на голодный желудок много не натащуешь, – поддержал его Чундерлинк. – Пусть уж танцуют те, кто талон заработал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.